

КАЗАЧЬИ РОМАН

НА РУБЕЖАХ ЮЖНЫХ



Б. ТУМАСОВ
И. НАЖИВИН

Казачий роман

Иван Наживин

На рубежах южных (сборник)

«ВЕЧЕ»

2007

Наживин И. Ф.

На рубежах южных (сборник) / И. Ф. Наживин — «ВЕЧЕ»,
2007 — (Казачий роман)

Перед вами уникальная в своем роде книга, объединившая произведения писателей разных веков. Борис Евгеньевич Тумасов – русский советский писатель, автор нескольких исторических романов, посвященных событиям прошлого Руси-России, – «Лихолетье», «Зори лютые», «Под стягом Российской империи», «Земля незнаемая» и др. Повесть «На рубежах южных», давшая название всей книге, рассказывает о событиях конца XVIII века – переселении царским указом казаков Запорожья в северо-кавказские степи для прикрытия самых южных границ империи от турецкого нашествия. Иван Федорович Наживин (1874–1940) – известный писатель русского зарубежья, автор более двух десятков исторических романов. Роман «Казаки», впервые увидевший свет в 1928 году в Париже, посвящен одному из самых крупных и кровавых восстаний против власти в истории России – Крестьянской войне 1670–1671 гг., которую возглавил казачий атаман Степан Разин.

© Наживин И. Ф., 2007

© ВЕЧЕ, 2007

Содержание

Борис Тумасов	5
Часть I	5
Глава I	5
Глава II	10
Глава III	13
Глава IV	18
Глава V	22
Глава VI	25
Глава VII	27
Глава VIII	32
Глава IX	37
Глава X	44
Глава XI	49
Глава XII	55
Часть 2	63
Глава I	63
Глава II	64
Глава III	69
Глава IV	72
Глава V	75
Глава VI	91
Конец ознакомительного фрагмента.	96

Борис Тумасов, Иван Наживин На рубежах южных (сборник)

Борис Тумасов На рубежах южных

*Тяжко с матерью прощаться
У бескрышиной хаты.
Еще горше в мире видеть
Слезы да заплаты.*

Т. Шевченко

Часть I Доля казачья

Глава I

Там, где над Кавказским хребтом поднимается Эльбрус, одетый в белую снежную папаху, из древнего ледника вытекают три чистых потока. Легкие и стремительные, мчатся они, как горные козы – куланы. И карачаевцы, жившие в этих местах, так и прозвали эти быстрые потоки: Учкулан – три козы. Убегая от вечных холодов, они сливаются у аула Учкулан, образуя Кубань-реку. Течет Кубань через черкесскую и землю казачью, поворачивает на запад, набирает силы и, широкая, полноводная, уходит к морю.

Вдоль реки – южная граница русской земли. Много видела буйная Кубань: и стремительных скифов, и отряды готов, свирепых гунов царя Аттилы и кочевников болгар, вежи печенегов и половцев. Топтали ее гривастые степные скакуны воинов Чингисхана. Народы приходили и уходили. В степи вырастали новые могильные курганы, а Кубань оставалась прежней – бурной, полноводной, яростной...

В конце XVIII века с Украины на Кубань, на земли бывшего русского княжества Тмутараканского, переселились запорожские казаки, названные незадолго до этого черноморскими. Пришли они сюда, на южный рубеж государства Российского, по велению царицы, чтобы своими станицами закрыть дорогу на Русь туркам и немирным абрекам.

С той поры и стала заселяться кубанская земля.

Весна пришла на Кубань. Старые вербы полощут сочные листья в мутной воде. Ветер гонит рваные тучи, со свистом проносится по безлюдным станичным улицам и, ударяясь о белые мазанки, вырывается в степь. Рано пробудилась в этот день станица Васюринская. Длинной лентой белых хат вытянулась она на правом обрывистом берегу Кубани. Много напоминает в ней о гордом прошлом Запорожской Сечи. Вспоминали старики, что еще в начале XVI века объявился на Сечи казак Васюринский. Храбростью снискал он уважение своих боевых товарищей, и, когда стали казаки делиться на курени, избрали они его куренным атаманом. Шли годы, много было атаманов, а имя Васюринского прочно закрепилось за куренем. Потомки тех запорожцев, казаки этого куреня, и основали на Кубани сторожевую станицу Васюринскую...

Ранним утром с ночного лова возвращался в станицу молодой казак Федор Дикун. Кубань, вспененная, дикая, мчала лодку вдоль рыжей кручи, норовила разбить ее. Но Федору любо померяться силой с буйной рекой. Он ловко работает веслами. Ему жарко, на смуглом лице выступили капельки пота. Федор вытирает их рукавом свитки. На дне лодки, разбрасывая брызги, бьется двухаршинный сом, мучительно зевает большим ртом. Дикун приналег на весла. Они протяжно скрипят в уключинах. Наконец, вырвавшись из стремнины, Федор погнал лодку к берегу, низким голосом запел:

Дремлет явор над водою,
К речке нахилился.
На казачьем сердце горе.
Хлопец зажурился...

Федор не видел, как, услышав его песню, ускорила шаг молодая казачка, спускавшаяся по крутой тропинке к реке. Только ведра быстрее закачались на расписном коромысле. Придерживая их, казачка смотрела на сильного гребца, и в губах ее пряталась улыбка.

Сбежав к вербам, возле которых казаки обычно чалили свои лодки, девушка поставила ведра и, затаившись у дерева, смотрела на Федора.

А песня неслась над Кубанью:

Рад бы явор не клониться, —
Речка корни моет.
Рад казак бы не журиться, —
Да сердечко ноет.

Лодка быстро приближалась. Зашуршав по песку, она мягко толкнулась о берег.

— С чего ж оно у тебя ноет? — вдруг негромко спросил девичий голос.

Федор резко обернулся.

— Анна! И как же я тебя не заметил?

С минуту они смотрели друг другу в глаза, не пряча своей радости. Потом девушка смутилась, отвела взгляд.

— Эх ты, казаче! За песней и абрека просмотришь. Он бы тебя враз связал, — проговорила она.

— Не свяжет! Я его вот так. — Федор подхватил Анну, легко поднял ее.

— Пусти, сбесился, — попыталась вырваться она.

— Вот тебе! — Он поцеловал ее горячие губы. — Чтоб в другой раз не пугала...

— Уйди, Федька! Увидят. Вон глянь!

Он выпустил ее, посмотрел на обрыв, но там никого не было. А девушка, раздумывая, счастливая, уже набирала в ведра воду.

Было время, когда Федька Дикун и внимания не обращал на соседку, атаманскую дочку Анну. Была она лет на десять моложе Федьки — угловатая, большеротая, темноглазая. Случалось, что Федька галкой ее дразнил. И вдруг к шестнадцати годам черная, голенастая галка превратилась в красавицу. Тугой силой налились плечи. Голова черной косой опоясана, темные глаза прямо в сердце просятся.

Понял тогда Федор, что не жить ему без этих глаз, без этой веселой и гордой улыбки...

— Анна!

Он шагнул к девушке.

— Вот подойди, так и остужу, — добродушно пригрозила Анна и, подняв коромысло, легко пошла наверх. Федор не сводил с нее глаз.

– Аннушка, – окликнул он. Она обернулась. – Приду вечером. Выйдешь?
Анна улыбнулась.

– Приходи, коли не боишься.

– А чего мне бояться? – Федор нахмурился.

– Ну, ну, приходи! – крикнула Анна.

Она ушла, а Федор все еще стоял, задумавшись.

Двор Федора Дикун выходит в глубокую балку, поросшую молодым дубняком и колючим терновником. У самого плетня маленькая выбеленная хатка под чаканом. Ее единственное подслеповатое оконце, затянутое бычьим пузырем, смотрит робко и сиротливо. К хатке пристроен сарай. Он еще не покрыт, и его дубовые стропила напоминают ребра скелета. В сарае пусто. Хозяин строит его, надеясь со временем обзавестись конем, а может быть, и коровой. По всему двору ветер разбросал прошлогодний курай, сухие листья камыша. Живет Дикун вдвоем с матерью, круглый год батрачит у соседа, атамана.

Подворье станичного атамана Балябы напротив, через дорогу. Просторная хата гордо глядит тремя окнами с резными наличниками. Окна сверкают дорогими стеклами. У двери два столба держат крашеный голубой краской навес над крылечком. Под одну крышу с хатой сарай, за ним – подкат для арбы. В другом углу двора приземистая кошара, а рядом длинная скирда сена. Посреди двора колодец с журавлем.

Крепкое хозяйство у атамана: две пары коней, коров дойных четыре и овец не меньше полусотни. А семья – сам Степан Матвеевич с женой Евдокией да дочь Анна. Степану Матвеевичу за сорок. Ростом он невелик, но дородный и в движениях медлительный. Оскалом мелких зубов и злым взглядом Баляба напоминает хищного хоря. Восьмой год держит он атаманскую булаву в своих цепких руках. И любил он только эту булаву да дочку Анну. В последний год не раз сваты заходили во двор Балябы, но атаман только отговаривался от них:

– Не пора еще, да и нам наша девка не в тягость!

Ходили по станице слухи, что думает Баляба отдать свою дочь за какого-нибудь богатея. Замечал Степан Матвеевич, как иногда украдкой от него поглядывала Анна на Федора Дикун. До поры, до времени прималчивал Баляба. То ли надеялся, что пройдет это у девки само собой, то ли сдерживался, чтобы не трогать Федора. Видно, помнил старый атаман, как в турецкую войну, когда насели на него четверо янычар, Федькин отец пробился к нему и спас от смерти. В том бою срубили янычары смелого Дикун. Перед смертью просил он Степана Матвеевича не забывать его семью. И тот поклялся в этом умирающему...

В воскресенье, после сытного обеда, Степан Матвеевич был в хорошем настроении. Он встал из-за стола, набил самосадом отделанную красной медью люльку, кресалом высек искру. Трут затлел, распространяя по горнице едкий дымок.

– Ишь, вонь наделал, – ворчала Евдокия.

Степан Матвеевич промолчал. Ему было лень вступать в пререкания. Глазами он медленно блуждал по выбеленным стенам. Евдокия вышла, сердито хлопнув дверью.

Из кухни доносился стук мисок: Анна убирала со стола.

Выкурив люльку, Степан Матвеевич выбил ее об мозолистую ладонь, откашлялся и теперь раздумывал, куда бы пойти. Сидеть в хате не хотелось, по двору делать нечего.

Стукнула дверь. Степан Матвеевич лениво скосил глаза. У порога стоял Федор. На нем была новая свитка и новые шаровары. Юхтовые сапоги блестели от жирной смазки. Дикун млял в руках мерлушковую шапку, перешедшую ему от отца.

– К вам, Степан Матвеевич, – сказал он.

Баляба недоуменно глядел на Федора.

– И чего ты, Федька, так вырядился? – удивился он.

– К вам, Степан Матвеевич, – повторил Дикун.

– Ко мне, стало быть? – Атаман прищурил маленькие глазки. – Ну, тогда кажи.

– Не знаю, как и казать, Степан Матвеевич.

– А ты садись да кажи, не бойсь...

Дикун присел на край скамьи, положил рядом шапку.

– Я, Степан Матвеевич, хочу вам казать, что по сердцу мне Анна.

Брови атамана сошлись к переносице. Но Баляба сдержал себя, притушил свой злобный взгляд и тихо, словно раздумывая, проговорил:

– Хм... Стало быть, по сердцу? А может, и сватов зашлешь? Ну, так слухай. – И снова набив трубку, Баляба медленно продолжал: – Слухай, Федька, что я тебе расскажу! Да... Был смолоду у меня жеребец, добрый был. Вот однажды на крещение выехал я на Ордадь. Санки кованные, жеребец бежит, танцует, по льду подковками цокотит, – Степан Матвеевич закрыл глаза, будто вспоминая, потом, открыв, продолжал: – Да, смотрю, Евдокия, жинка моя теперешняя, стоит, а с ней Марья, подружка ее. Я жеребца: тпруу-у! «Садись, – кажу, – Евдокия, покатаю». А она, стало быть, ломается. «Я одна не хочу, я с Марьей». Да. Подождал, пока Евдокия села. А Марья ногу одну на санки поставила, другой еще на льду стоит, тут я как стебнул жеребца. Он, стало быть, и рванул, а Марья брык на лед, и ноги задрала...

Баляба мелко засмеялся. Неожиданно оборвав смех, серьезно сказал:

– Так вот, Федор, не лезь, как та Марья, в чужие санки, – и видя, что Дикун вскочил со скамейки и стоит перед ним, прикрикнул: – Геть, голодранец, покуда я тебя кнутом не отженил! Хозяйства моего захотел!

Федор ответил глухим голосом:

– Не милости просить я до вас приходил. И не хозяйство мне ваше нужно, хай оно вам. Батько мой жил без его, и я проживу. – И, хлопнув дверью, вышел.

Весь остаток дня Степан Матвеевич ходил хмурый. За ужином сказал дочери:

– Ты слухай меня, Анна. Чтоб и в думке у тебя Федьки не было! Неровня он тебе, наймитом был, наймитом и сдохнет. Чуешь?

Анна уронила ложку, расплакалась.

– Ну чего, овца бесхвостая, нюни распустила? Ты меня слухай. А будешь еще с ним таскаться – кнутом отхожу.

– Да будет тебе, – попыталась вмешаться Евдокия.

– Умолкни, заступница!

– Все одно за другого не пойду! – отчаянно выкрикнула Анна.

– Вот я тебя! – взорвался Баляба. – Поговори еще! Возжами не только коней усмирить можно!

Баляба потянулся к миске... Доедали молча. После ужина Анна вышла во двор, обхватила столб у сарая, заплакала.

От плетня негромко окликнули:

– Анна!

Девушка оглянулась. По голосу узнала Федора. Торопливо подбежав к плетню, горячо зашептала:

– Батько ругается...

Федор птицей перелетел через плетень, обнял ее.

– Эх, Аннушка, горе мое! Батька думает, что я на его богатство зарюсь. Хай оно ему вместо гайтана. А вот без тебя...

– Сбежим туда, за Кубань?

Федор ничего не ответил. Ласково поглаживая теплые девичьи плечи, он припомнил, как старуха бабка рассказывала ему о прадеде.

Был у одного барина в Московии крепостной – могучий мужик, замкнутый, нелюдимый. Оттого и звали его «дикой». Однажды не угодил чем-то Дикой барину, и тот приказал высечь

его. С того времени затаил мужик злобу. Как-то, подкараулив барина у леса, Дикой привязал его к дереву и засек до смерти. А потом бежал на Украину, в Сечь.

Приняли его в Васюринский курень. Сам гетман Богдан за храбрость не раз Дикого жаловал. Может, и выслужился б он в старшины, да на беду полюбил дочку полковника. Убежали они с ней и тайно обвенчались. Разгневался полковник и отказался от дочери.

Прожил Дикой в бедности, оставив после себя хату пустую да сына. Отсюда и пошел род Дикунов.

– Нет, Аннушка, бежать-то некуда. Кто нас ждет на чужбине?

Из хаты вышла Евдокия. Вглядываясь в потемки, позвала Анну.

В небольшой хате, перегороженной надвое турлучной перегородкой, помещается станичное правление. Первая комната – дежурка, во второй сидит атаман Баляба. Навалившись на стол, он разглядывает стоящего перед ним мужика средних лет, в лаптях, рваных холщовых штанах и выгоревшей рубахе навывпуск.

Мужик – беглый, крепостной.

Степан Матвеевич лениво, сквозь зубы цедит:

– Так, стало быть, к войску приписаться желание имеешь?

– Уже так, к вашей милости, – мужик кривит рот в просящей улыбке.

Атаман сонно зевает. Ему не хочется разговаривать. Он поворачивает голову и долго смотрит в окно. На плацу казачата гарцуют на хворостинках. Вот один из них, прогалопировав к правлению, присел, по большой надобности, у самого порожка.

Степан Матвеевич вскочил, высунулся до половины из окна, разгневанно закричал:

– Геть, вражененок!

Казачонок кинулся наутек.

– Ишь, голодранец, плац запоганивает, – снова усаживаясь на лавку, бурчит атаман.

Мужик переминается с ноги на ногу, мнет шапку.

– Так с какой же губернии будешь? – зевнув, продолжает допрос Баляба.

– Рязанские мы.

– Ишь ты, – Степан Матвеевич чешет затылок. – Издалека, стало быть. А зовут-то как?

– Митрий.

– Митрий? – лениво переспрашивает атаман и, оглядывая мужика, думает:

«С Федькой треба разделаться. Хай на кордон идет. А этого, пришлого, можно к себе взять. Дарма работать будет».

– Ну что ж, – с деланным добродушием говорит атаман. – Приписать мы тебя, стало быть, припишем. А жить у меня будешь. По хозяйству мне трошки пособишь...

– Премного вам благодарен...

Баляба снова зевает и, указывая на дверь, дает понять, что разговор закончен.

«Чегой-то на сон клонит, к дождю, что ли? – думает Баляба, глядя вслед мужику. – Пойти отдохнуть?»

Выйдя из правления, Степан Матвеевич издали заметил Пелагею Дикуниху.

– Карга, – буркнул он, намереваясь перейти на противоположную сторону улицы. И вдруг передумав, окликнул:

– Эй, Пелагея, погоди трошки.

Из-под низко повязанного платка Дикуниха строго смотрела на атамана, поджав губы.

– Ты чего не заходишь? – приветливо спросил Баляба. – В нужде живешь, может, и помог бы чем. Ведь ты для меня вроде сестры...

– Спасибо на добром слове, – холодно поблагодарила Пелагея.

– Ну, смотри, твое дело, раз не нуждаешься. – И уже отходя, бросил: – А Федьке скоро на кордон итить, хай собирается. И так засиделся, из казака в бабу переделался...

Солнце закатилось за дальним курганом. От Кубани потянуло прохладой. Во дворах гревели подойниками хозяйки, ревели призывно коровы. На окраине станицы перебрехивались собаки.

Перейдя улицу, атаман миновал хату кума Терентия Троня. Жадными глазами пробежал по его длинному сараю. Терентий выводил коней к колоде. Степан Матвеевич даже не заговорил с ним, отвернулся от зависти.

Терентий Тронь разбогател еще в молодости. Рассказывали, что когда-то за Бугом, на одном украинском шляхе, проходившем мимо того села, в котором жил Терентий, ограбили почту. Указали на отца и сына Троней. Полиция долго вела дознание, но следов никаких не обнаружила. Старый Тронь умер в тюрьме, а Терентия выпустили.

Вернулся Тронь на Украину, а через год женился, купил пару лошадей, обзавелся хозяйством и вскоре стал самым богатым.

Не доходя до своего двора, Баляба остановился у хаты вдовой казачки Лукерьи.

Оглянувшись, атаман открыл калитку, но тут его окликнула Евдокия. Только теперь Степан Матвеевич заметил, что жена из-за плетня наблюдает за ним.

– Ах ты, беспутный, – напала она на него. – И далась вам эта Лушка! Вроде она медом мазанная, что вы к ней, как мухи, липнете.

Баляба почесал затылок.

– Ну, вражья баба! И чего лаешься? Что мне, стало быть, и глянуть нельзя? Я, может, за порядком доглядаю.

– У, глаза твои беспутные, в своем дворе за порядком бы доглядал!

Глава II

Где бурная Кубань изгибается дугой, у впадения в нее речушки Карасуна, в два года выросла казачья крепость Екатеринодар. За рекой, на левом берегу, – черкесская земля. Правый берег – русский, его стерегут черноморские казаки. Несут они пограничную службу от среднего течения реки, где у самого берега высится Александровское укрепление, до устья. Зорко стоят на страже казаки. На Елизаветинском, Ольгинском, Бугазском кордонах всегда готовы отразить нападение неприятеля конные казачьи сотни и отряды пластунов. В камышах, на звериных тропах, в густых кустарниках скрываются невидимые казачьи залоги. Придерживая коней, настороженно проезжают разъезды. Поперек седел у хмурых всадников пищали лежат. Чуть что – раздастся ли где выстрел или просигналят со сторожевой вышки, как казаки, гикнув, аллюром мчатся на выручку к товарищам.

Екатеринодарская крепость – центр Черноморского войска. Высокий земляной вал, опоясывающий ее, порос колючим терновником. На валу пушки-единороги выставлены, дозорные ходят. В крепость один въезд – через обитые потускневшей медью ворота. Возле ворот караулка для пикета, рядом – приземистая пушка.

Вышел из караулки старший пикета хорунжий Никита Собакарь, лениво раскурил люльку.

Утомительно однообразно тянется в крепости время. Иной раз за целый день ни одного человека не увидишь. Кругом крепости старый дремучий лес шумит, тоску навеивает. От болот смрадом тянет...

Нет, раньше у Собакаря служба веселее шла. Сколько помнил себя Никита, вся жизнь прошла в битвах и тревогах. И куда только не бросала его казацкая судьбина! Рубился с ляхами, плавал на быстрых чайках в туретчину, ходил с отрядами запорожцев на Балканы помогать единоверцам.

А новые места кубанские – коварные, обманчивые. То откуда-нибудь из чащобы прилетит неотвратимая черкесская пуля, то сломит казака болотная лихорадка. И еще крепость строилась, а вокруг нее уже кладбище раскинулось...

Смотрит Собакарь на войсковой майдан, на деревянный храм шестиглавый, что привезли черноморцы с собой разобранным с Заднепровья. Как бы огораживая майдан, по сторонам вросли в землю десятка полтора длинных глинобитных казарм-курений. А за крайним курением большое турлучное здание. Это войсковое правление, резиденция кошевого атамана.

Атамана сейчас нет, и все дела за него исполняет войсковой судья.

У правления – коновязь. Подседланные кони мерно жуют сено, помахивают хвостами, звенят свисающими удилами.

Из правления быстро вышел казак. Нахлобучив папаху поглубже, подтянул подпругу, легко вскочил на коня и рысью подъехал к воротам.

– Открывай, хорунжий, срочный! – крикнул он на ходу Собакарю.

Тот быстро распахнул одну половину ворот, выпустил коннонарочного и снова погрузился в раздумье. Плавно поднимались вверх клубы табачного дыма от старой люльки. Шаркались от них стаи злых рыжих комаров...

«Вот немало прожил на свете, а правды еще не видел, – думал Собакарь. – И дослужился до хорунжего, но с нуждой не справился. Сколько ни старался, так и не завел своего хозяйства. Вся жизнь у куренного котла пролетела. А те, кто побогаче, – тем почет и уважение. Они и от службы откупаются. Уплатят какому-нибудь бедолаге – и тот за них отбудет положенный срок на кордоне. Эх...»

Хорунжий вздохнул, со злостью сплюнул горькую слюну, неторопливо поднялся на вал и глянул в бойницу. Вдоль узкой дороги – гребля, пересекающая Карасунское болото, а по ту и другую стороны, на возвышающихся холмиках, разбросаны белые пятна мазанок. Строились они без всякого плана, там, где того хотели их хозяева. Задумает казак построить себе хату, подыщет бугорок на болоте, где, на его взгляд, посуше, сваи заколотит, чтоб весенний паводок не достал, – и с богом принимается за работу. Навезет казак хворосту из лесу, отурлучит, глиной плетень обляпает, и готово жилье.

В одном схожи были казачьи хаты: строились они, на случай неприятельского налета, глухой стеной к улице, а окнами во двор. Немудреные, подслеповатые строения! Да у казака и поговорка на этот счет: «На границе не строй светлицы».

Но среди множества приземистых хат выделяется несколько больших подворий – широких, обнесенных добротным частоколом, со множеством построек. Это – подворья войскового судьи Головатого, войскового писаря Котляревского да еще нескольких старшин и местных богатеев. Эти быстро обжились на кубанской земле – у них в степях и хуторочки, и сады, и скотины много... И батраков десятки, как у настоящих панов.

Никита прихлопнул комара, растер кровь, проговорил вслух:

– Ишь, тоже кровь пьет из нашего брата. И погибели на вас нет, проклятых!

Богат войсковой судья Антон Андреевич. Есть у Головатого несколько хуторов, тысячи десятин пастбищ, на которых гуляют косяки коней, пасутся стада коров, гурты овец...

А в Екатеринодаре дом у Антона Андреевича – полная чаша. Стены коврами персидскими обиты. Оружие развешено. Тут и сабли польские, и ятаганы турецкие, и пистолеты, чеканным серебром да золотом отделанные.

И хотя овдовел недавно войсковой судья, однако ж во всем чувствуется хозяйский глаз.

Всеми делами в доме ведает экономка Романовна, которую, как поговаривали, боится даже сам Головатый. Говорили еще, что и при жизни жены Антона Андреевича настоящей хозяйкой в доме была экономка. А теперь она совсем во власть вошла.

В тот вечер войсковой судья, развалившись на турецкой тахте, читал послание кошевого Чепеги, писанное из Польши.

«...А еще, милостивый друг Антон Андреевич, сообщаю вам, что в бытность мою в Петербурге был я представлен Ея Императорскому Величеству и всей царской фамилии. После одного был приглашен к царскому столу откусать, где граф Платон Александрович изволили быть.

Баталия же наша проходит весьма успешно. Граф Александр Васильевич¹, главенствующий здесь всеми войсками российскими, премного доволен черноморцами...»

Сняв пальцами нагар со свечи, Головатый принялся читать дальше.

«А еще хочу отписать вам как товарищу и другу. Поелику это возможно будет, оказывать всяческое содействие крестьянам, кои по разным причинам на Кубань бегут. Приписывайте их по куреням, в казаки. Войско наше, как вам известно, в людях превеликую нужду имеет. Письмо сие посылаю с надежным человеком и прошу по прочтении его немедленно спалить».

Головатый перечитал последние строки, поднялся, прошелся по горнице, поскрипывая мягкими сапожками.

«Прав ты, Захарий, прав, – сам себе сказал судья, – да только с умом все это надо вершить. Так, чтобы в Петербурге об этом неведомо было, ибо за укрытие крепостных, коли дознаются, по голове не погладят...»

Тишину нарушил колокольный перезвон. Пели, переливались под искусной рукой звонаря колокола войскового храма. Головатый прошел в угол, где темнели хмурые лики святых, озаренные огненными отблесками лампы.

Антон Андреевич широко перекрестился и попытался опуститься на колени. Но отяжелевшее тело потянуло его вниз, и он не опустился, а брякнулся, больно ударившись коленями об пол. «Эх, старею, видать! – промелькнуло. – А ведь другим был».

И стоя на коленях, глядя на огонек лампы, он припомнил молодость.

Киев, просторно раскинувшийся на холмах... Бурса. Он, хлопец Антон, одетый в черный подрясник, стоит в рядах таких же школяров и усердно отбивает поклоны, а в голове думка. Сечь, геройские подвиги, добыча, черноглазые полонянки...

После бурсы пошел в духовную академию. В совершенстве изучил латинский и греческий, польский и русский. Научился вкрадчивой мягкости отцов церкви. Не раз прочили близкие Антону большую духовную карьеру. Но взбунтовалась горячая кровь. В черную ночь, захватив краюху хлеба, на украденной лодке бежал он в Сечь. Впрочем, тамгодились и иноземные языки, которые он изучил, и дипломатические навыки...

Мягко ступая, в горницу вошел войсковой старшина Гулик. Судья покосился на него, еще раз осенил себя крестом и тяжело поднялся с колен.

– А-а, Мокий! – проговорил он. – Садись, брат. Проведать пришел? – И грузно, так, что затрещало в коленках, опустился на лавку. – Эх, стареем... Годы, годочки! А бывало-то...

– Нам, Антон, теперь только и радости, что вспоминать, – усаживаясь на подвинутую скамью, ответил Гулик. – Мне иногда такое придет в голову, что, веришь, жалко самого себя станет... До чего же годы быстро пронеслись! А гарные годы были!

Они помолчали. Каждый думал об одном и том же.

Головатый встал, грузной походкой прошел по комнате, остановился у окна и, не оборачиваясь, спросил:

– А помнишь, Мокий, как рушили нашу Сечь?

– Кто этого не помнит, – нахмурившись, глухим голосом проговорил Гулик. – Я в жизни не плакал, а тогда бугаем ревел. Глотку готов был всем грызть... Круг накануне собирался.

¹ Суворов Александр Васильевич.

Кошевой Петро Калнишевский повернулся ко мне и говорит: «Чуе мое сердце, Мокий, что последние дни доживает наша Сечь...»

– А я в дороге узнал, что Сечь-мать порушили. Мы с Сидором Белым и Логином в ту пору на Хортицу возвращались... Хотели от горя постреляться, да Сидор не дал. «Вы, – говорит, – хлопцы, пулю с дуру всегда проглотить успеете. Надо думать, как бы войско возродить, не дать сгинуть казачеству». Он и мысль подал к Потемкину в конвойную сотню вступить.

– Потемкин сдуру матушку-царицу уломал, чтоб войско Запорожское порушила, а потом же сам просил нас, чтоб скликали войско Черноморское...

– Не, Мокий! – покачал седеющей головой Антон Андреевич. – Не! – Головатый отошел от окна, сел против старого друга. Глаза сосредоточенно остановились на нем. – Не! Светлейший понимал, что, пока Сечь жива, трудно будет панам и подпанкам Украиной управлять. Грицько хоть и одноглазый был, а далеко видел...

– Так чего ж ты, кум, стреляться собирался, колы Потемкин верное дело делал? – с насмешкой спросил Гулик.

– Молодой был, дурь еще бродила! – ответил Головатый. – Уж потом понял, что времена сечевой вольницы прошли и быльем поросли. Укрепилась Русь, да и время теперь такое. Лучше в чести у царицы быть... Батогом дуба не перешибешь...

– А народ? – тихо спросил Гулик. – А народ как, друже Антон?

– Народ?! – Головатый задумался. – А что народ? Ты думаешь, Мокий, народу легче бы стало, колы б мы против Потемкина пошли? Нет! Срубили бы нам головы, и все своим чередом двигалось... А вот теперь, на Кубани, народу легче. Куда бегут мужики-крепостные? На Кубань!

– Так им легче здесь, друже? – насмешливо прищурился Гулик. – Там работали на пана, здесь работают на атамана...

– Ну нет, Мокий! – Головатый энергично ударил по столу тяжелым кулаком. – Нет! Здесь мужик вольным себя чувствует! А что работает – так это хорошо. Мужик и живет для того, чтобы работать...

Огонек свечи опал и захлебнулся в растопленном воске. Ярче стали желтые блики лампы. Луна заглянула в окна горницы.

Гулик встал.

– Засиделся я у тебя, Антон, тебе давно на боковую пора.

– Посидел бы еще, бессонница меня мучает...

– Нет, пора уже!

Провожая Гулика до двери, Головатый сказал:

– Письмо от Захария получил.

– Что пишет, когда их отпустят?

– Не прописал про это.

– Такая уж служба казачья!

Глава III

Далеко от Черномории, на Волге, лежит деревня Пески. Рубленые, крытые соло мой крыши, овины. В полночь, под праздник Пантелеймона-исцелителя, из крайней избенки вышел человек.

На фоне голубовато-серого летнего неба он казался высеченным из камня. Несколько минут человек молча смотрел на спящую деревушку, на барский дом, смутно белеющий среди темной зелени. А потом легкой бесшумной походкой пошел через луг, к маленькому кладбищу. Пройдя мимо покосившихся крестов, он приблизился к свежему, еще не заросшему травой могильному холмику, высившемуся чуть в стороне от кладбища.

Застонав, человек упал на холмик, обхватив его раскинутыми руками.

– Наталья! Светик мой ясный! – словно в горячке, яростно и горько шептал человек. – Разве ж только и судьбы тебе было, что в петлю лезть? Дочка моя ненаглядная!

Тихо было на кладбище. Не шуршала трава, не шумел ветер.

Человек поднялся с земли и направился к господскому дому. Ноги в лаптях бесшумно ступали по земле...

Прячась в тени деревьев, он пересек густой сад и у открытого окна затаился. Прислушался. Где-то в глубине комнаты раздавалось мерное похрапывание.

Перекрестившись, человек неслышно перевалился через подоконник и осторожно подошел к кровати.

– Вставай, барин, – глухо проговорил он, встряхивая лежащего за плечо.

Храп прекратился.

– А! Что?

– Сочтемся, барин! Слышь? – Глухой голос человека звучал угрожающе. – Вспомни Наталью, дочку мою!

Тускло сверкнуло широкое лезвие ножа – немудреного мужичьего ножа, которым, может, совсем недавно резали хлеб.

Удар, слабый стон...

Человек выпрыгнул из открытого окна и побежал к Волге, где покачивались у берега лодки.

Над степью дрожит знойное марево. Воздух переливается горячими волнами. Ковыль белый, как пена, вытянулся в рост человека. Вразнобой стрекочут кузнечики. «Пить-пить», – перекликаются в густой траве перепелки.

Зажатый с двух сторон всадниками, понуро плетется Леонтий Малов. Его рябое лицо серо от пыли, глаза ввалились, на спине, едва прикрытой грязной, порванной рубахой, темной полосой запеклась кровь.

– Давай, давай, пошевеливайся, душегубец! – покрикивает на него управляющий.

Сорок лет был Леонтий Малов крепостным помещика Бибикова. Всего перевидал на своем веку. Но когда приехал из Петербурга молодой барин и надругался над его дочкой, – не выдержал Леонтий и пустил в ход старый нож...

Волга-матушка подхватила его легкий рыбачий челнок и понесла на юг.

Леонтий плыл ночами, а днем прятался в прибрежных зарослях. Кончился хлеб. Беглец ставил силки и ловил доверчивых, глупых уток.

Как-то возле приволжской степной крепости Малова перехватил сторожевой дозор. Солдаты досыта накормили Леонтия кашей, и он, стосковавшись по людской речи и ласке, вдруг во всем повинился им, рассказал, как порешил барина-наильника.

Солдаты долго молчали. Потом, пошептавшись между собой, дали Леонтию крупы, соли, рыбы и указали путь на вольную Кубань.

– Иди, добрый человек! – сказал седобородый унтер с суровым и скорбным лицом. – Знаем, какова она, господская ласка! Ступай! Бог с тобой!

Прячась от бродячих кочевников, Леонтий добрался до степного Егорлыка. Кубань была совсем рядом.

И тут его, сонного, схватили бибиковские приспешники – управляющий, прозванный Лютым Зверем, и дюжий конюх Пантелей, выполнявший одновременно и обязанности палача.

Объехали они не одну кубанскую станицу в поисках Малова. И уже надежду потеряли отыскать, домой возвращались и тут, на дороге, случайно наткнулись на Леонтия.

И вот гонят его теперь барские холоуи к Волге.

– Эх! – тяжело вздохнул Леонтий. – Судьба-горемыка!..

– Погодь! Не то еще тебе будет! – грозит Пантелей. – Уж старый барин за свое дите помотает из тебя жилушки!

Пофыркивают кони под управляющим и Пантелеем, поскрипывают седла.

– Фу, парко! – просипел Пантелей. – Ччас бы кваску хлебнуть холодного... И-и! – взвизгивает он и изо всех сил обжигает ременным кнутом Малова. – Да иди ж ты шибче, постылый! Через тебя страдания переносим.

Повернув голову, Леонтий тихо, но внятно говорит:

– Ты токо, Пантелей, на связанном и отыгрываешься. Псом был, псом и останешься...

Лицо конюха перекошилось от злобы.

– Погоди ужо, вернемся в деревню, шкуру с тебя спустим. Сам этим делом займусь.

Из разговоров Пантелея с управляющим Леонтий понял, что молодой барин выжил, и лекарь сказал, что рана не смертельная.

«Живым не оставят, – думает Малов, – не оставят... Бежать бы, бежать...»

Окидывает взглядом степь. Нет ей конца и края. Впереди серебряной змейкой скользит тихая степная речка.

«Земли-то сколько, земли, – мелькает у Малова. – Земля, что масло... Сколько хлебушка уродила бы...»

Из-за густых зарослей камыша снялась стая диких уток, захлопали крыльями, описали полукруг и вот уже режут воду на середине реки. Листья камыша все тихо шелестят о чем-то. Жарко.

– Тут и передохнем, – вяло проговорил управляющий, придерживая коня. – А ну, стой! – крикнул он Леонтию. Тот остановился. – Вяжи ему ноги, Пантелей! Да крепче, чтоб не убег.

Леонтий опустил на траву, безразлично смотрел на конюха, возившегося с веревкой. Наконец тот, затянув узел, отошел к лошадям, принялся расседлывать.

Леонтий пытается шевельнуть руками, но веревка больно въедается в тело. Облизывает запекшиеся губы.

– Испить бы хоть дали.

– Ишь, чего захотел, барин какой, – зло хрипит Пантелей. – Чай, и так перетерпишь.

– Дай ему воды, Пантелей, – не глядя в сторону Леонтия, бросает управляющий. – И хлеба дай... А то еще сдохнет раньше времени... С нас спросится.

Сумерки наступают медленно. С запада лениво наползают кучерявые облака. Они закрывают солнце, и широкая пепельная тень плывет по степи.

Теплый воздух обдувает Леонтию лицо, гладит грубую кожу. Вкрадчиво и тонко звенят комары. От усталости веки становятся свинцовыми и опускаются сами собой...

Григорий Кравчина шел в засаду на кабана. Вчера выследил он тропинку в камышах, по которой кабан ходил на водопой.

Любит казак эти дикие степи. Напоминают они ему Украину. Вот потому и уезжает частенько с дружками из Кореновской к Егорлыку поохотиться на кабанов и быстрых сайгаков.

Приплыл Григорий Кравчина на Кубань с Украины одним из первых. Ехал и гадал, как-то встретит его неведомый край. И не пожалел, что пришел сюда.

Выделили Кореновскому куреню землю на Бейсушке. Построил Кравчина себе хату, на припасенные деньги купил пару коней, а потом с другом своим угнали с того берега Кубани немалый гурт овец, продали удачно. С той поры пошло у Григория хозяйство в гору, богатеть начал. Иногда, бывало, когда спадала вода и открывались броды через Кубань, на неделю-другую уходил Кравчина с кем-нибудь в набег на черкесские табуны. Возвращаясь, приводили ворованных коней, сбывали по станицам.

Настал ему черед на кордон идти, но сумел казак откупиться, остался дома. Варил горилку, соль на Ачуеве покупал и мирным черкесам втридорога перепродавал. А скучно становилось – ехал в степь. Кони-то ведь свои.

Сдвинув мохнатую папаху на затылок, Григорий перекладывает тяжелую пицаль с плеча на плечо.

«До того поворота дойду, а там до речки рукой подать».

Обутая в постолы нога ступает мягко, неслышно, да и сам Кравчина не идет, а словно крадется. Конь его возле стана пасется.

Казак окинул взглядом степь. Вдали маячили двое верховых.

«Калмыки? – подумал Кравчина. – Нет, те шагом не ездят. Дозорные казаки? Нет, посадка не казачья, скособочились. Никак москали?»

Тут Кравчина заметил меж лошадьми еще одного человека.

«Эге! – подумал Григорий. – Тут дело темное! Видать, беглого перехватили, ироды!»

Кравчина сразу сообразил, что те двое верховых, конечно, стражники, а пеший – сбежавший от помещика крепостной. Много их в ту пору подавалось на Кубань, свободной жизни искали, от барской неволи уходили. За ними гнались, многих ловили и возвращали назад к помещикам. А ежели попадет такой беглец в станицу, спасется от преследователей, то нанимается за гроши в работники, либо, приписавшись в казаки, чтоб не умереть с голоду, изъявляет желание рублей за восемь – десять в год отслужить за кого-нибудь на кордоне.

Залегши в высокой траве, Кравчина наблюдал за конными. В голове мелькали расчетливые хозяйские мысли: «Освободить его, век не забудет. Даровой работник во дворе не лишний!»

Кравчина видел, как стражники подъехали к речке, стреножили лошадей, затем один из них вязал ноги арестанту. Потом все поели и, наконец, когда стемнело, улеглись.

Прижимаясь к траве, Кравчина по-пластунски начал пробираться к связанному. От речки потянуло прохладой. Тяжелые, рваные тучи медленно ползли, затягивая небо. В редкие проемы выглядывали звезды. Месяц то выскользнет, то снова спрячется, и тогда степь погружается в темень.

Шуршат камыши перед дождем, сонно вскрикивает кряква. Уже слышит Кравчина, как храпят стражники, как подсвистывает носом кто-то из них.

«Спит или не спит беглый?»

Месяц на минуту осветил степь, желтое, истомленное лицо Леонтия.

– Эй, пробудись! – прошептал Кравчина и слегка тронул связанного.

Тот шевельнулся, попытался подняться.

– Тс-с, – Кравчина поднес палец к губам и, достав нож, перерезал веревки, связывающие Леонтия.

– Ползи за мной, – шепнул он.

Оглянувшись в сторону управляющего и Пантелея, Леонтий пополз за своим освободителем.

Через несколько дней, ранним утром, Кравчина привез Малова в станицу Кореновскую.

– Вот тут я живу, – указал он на пятистенную хату, крытую мелким камышом. К хате примыкал длинный сарай, в стороне – баз, у база колодец. От речки двор Кравчины отделяли молодые тополя. – Будь как дома, Леонтий. Поживешь – в казаки примем. Теперь ты вольный человек...

Малов не знал, как и благодарить своего освободителя. А тот только улыбается краем рта да люльку посасывает.

– Ладно, ладно, живы будем, посчитаемся...

Марфа, мать Кравчины, хоть и болезненная, а подымается ни свет ни заря – со скотиной управится, притащит охапку сухой травы, заготовленной с осени, кизяков, печку затопит, тесто замесит. Встретила она Леонтия молчаливо, но сквозь сон он слышал, как говорила Григорию:

– И для чего он тебе? Да...

– Молчи, мать, знай свое дело, – перебил ее Кравчина.

Двое суток отъедался и отсыпался Малов. Оживал медленно. Первое время особенно грызла тоска по дому.

В работе старался забыть все. А дел у Леонтия всегда хватало. Марфа все хозяйство ввалила на него.

– Нечего задарма хлеб жрать, – как-то сказала она.

Встанет Леонтий утром, на базу почистит, скотину напоит и в степь гонит. Лишь затемно возвращается в станицу. Так и катится время день за днем, словно воды быстрой Кубани. День за днем набегают друг на друга, в месяц сливаются, и никто их бег неумолимый не остановит.

Станица Кореновская растянулась вдоль Бейсужка. Отстроилась она за короткое время: сотни дворов, в центре площадь, где в это лето заложили деревянную церковь. Рядом станичная канцелярия.

Хаты друг от друга плетнями отгорожены. По хате можно и о хозяине судить. У станичного атамана, священника и Кравчины хаты такие, каких на Украине не у всякого пана увидишь. Окна с резными наличниками, с нарядными расписными ставнями. Перед дверью – красивый навес на резных столбах. Десятка два хат чуть поменьше, остальные совсем маленькие. Многие – всего с одним-распоединственным оконцем. Такие хаты хозяева слепили по образу и подобию звонаря Трофима из Екатеринодарского войскового собора, коего природа неизвестно за какие грехи так нескладно скроила: нос в сторону свернуло, а шею потянуло набок. Вот и хаты такие – крыши скособочились, окошки перекосило. Но возле любой хаты шумят тополя, яблони, сливы. И станица поэтому кажется приветливой.

Хорошо в станице летними вечерами. Тихо. Воздух пахнет кизячным дымком, густым настоем трав. За версту по песням слышно, где гуляют парни и девчата. Больше всего любили станичники собираться вечерами у хаты Андрея Ковалья. Выйдет Андрей, сядет на завалинку, положит на колени бандуру и запоет. Голос у него негромкий, мягкий. Перебирают быстрые пальцы струны, льет нежные звуки старая бандура, и поет бандурист о былых временах, о храбрости казачьей, об атаманах, которые бились с панами и турками.

Кажется, что даже осокорь, заслушавшись, перестает шелестеть листьями.

Смолкнет бандура, а казаки сидят молча, думают свое...

Андрей – кузнец, по-украински коваль. И дед был у него коваль, и батько. Отсюда и фамилия пошла такая – Коваль. В кузнице Андрей – мастер, какого редко увидишь! Выхватит он из горна кусок раскаленного железа, положит на наковальню и давай выколачивать железную окалину. Искры во все стороны брызжут, Коваль молотом помахивает. А ты смотришь и думаешь: «Ну что можно из этой железки сделать?» Но пройдет минут пять, а то и того меньше, и готова втулка либо еще какая нужная вещь. Андрей как ни в чем не бывало поправит кожаный фартук и снова лезет своими длинными щипцами в горящие угли, или раздувает меха, что висят над головой, и тогда они большущими порциями выдыхают воздух в пасть трубы: «Чух! Чух!» Казаки только руками разводят: вот это мастер, железо в его руках – как тесто у доброй хозяйки.

Иногда в свободное время приходил к Ковалю и Леонтий Малов. Зайдет, сядет на ящик с углями, словом перекинется. А то возьмет молот и давай вымахивать, только успевают Андрей постукивать молотком, указывать:

– Еще раз! Вот сюда!

Потом присядут. Коваль какую-нибудь прибаутку расскажет, а Леонтий тоской поделится...

Однажды Андрей, слушая рассказ Леонтия о тяжелой крепостной доле, вытащил изо рта люльку, перебил:

– Хрен редьки не слаще! – смачно сплюнул. – Там бары-господа, у нас – свои паны... И всякий к себе гребет... Ты вот, Леонтий, от своего барина утек, а к кому попал? Кравчина со всякого по десять шкур сдерет. Уж я его давно знаю. Он тебя пригладил по шерсти. А погоди, скоро и против шерсти начнет вести. Ты у него в наймитах походишь... Да у нас таких, как Кравчина, с десяток наберется... Как ехали с Украины – все вроде братьями-казаками были. А приехали – в панов обратились...

Малов улыбнулся.

– Сказал! Да знаешь ты наших помещиков? У них у каждого крепостные, именья!

– Ха-ха-ха, – раскатисто засмеялся Андрей. – Ну, сразу видно, не понял ты еще нашей жизни. А знаешь ли, что наш войсковой судья пан Головатый имеет сотни две наймитов. А пан войсковой писарь Котляревский, а полковники да старшины, думаешь, не имеют купленных холопов? Да еще и казаки у них, можно сказать, за спасибо работают. А земли у каждого пана, леса! Ну, ничего, поживешь меж нами, сам поймешь. Наймит ты был, наймитом и останешься.

– Не наймитом я был, а крепостным. А здесь – я вольный.

– Вольный?! – зло усмехнулся Коваль. – Попробуй свою волю показать, поперек Кравчины пойти... Враз тебя плетюганами атаман отстегает. Не хуже барина.

Коваль поднялся, поковырял в притухших сверху угольях, вытащил из середины раскаленную железку и, положив ее на наковальню, изо всех сил ударил молотом. Железка расплющилась в тонкую лепешку.

– Эх, было б так, как на Сечи когда-то, – выговорил он.

Глава IV

Ефим Половой и сам не мог понять, как все это случилось. Шел он берегом Кубани. До кордона оставалось рукой подать. Вокруг пустынно – редкие кусты, выброшенные буйной водой ветвистые коряги. Вдруг свистящая петля-удавка захлестнула горло, дернула и потащила его к реке.

Очнулся Ефим только на том берегу. Открыл глаза, видит: мелькает внизу земля, лежит он поперек седла. Попробовал руками пошевелить – куда там, скручены ремнем. Тело болит. Подумал: «Тащили на аркане».

– Мать вашу перетак, – сплюнул Ефим кровавой сгусток.

Услышав, что пленный очнулся, черкес остановил коня, что-то гортанно крикнул товарищу, ехавшему впереди. Вдвоем они усадили связанного Полового на запасную лошадь и снова тронулись в путь.

Вскоре мелколесье перешло в густой лес. Замшелые дубы, старые, в несколько обхватов карагачи. Гибкие ветки больно хлестали Ефима по лицу, но он не замечал этого. В голове вертелось одно: «Неволя».

Отвлекся он от тяжелых дум, когда выехали из леса. Впереди показался аул. Ватага босонгих мальчишек бежала навстречу.

В ауле Ефима развязали, дали черствых лепешек. Вокруг собралась толпа. Черноглазые, жилистые люди о чем-то говорили по-своему, некоторые щупали его мышцы и, покачив головами, отходили.

После этого Полового повезли в соседний аул. Ефим догадался: продавали, да не продали. Слышал он и раньше рассказы других, что черкесы неохотно покупают пленных казаков – все равно, мол, убежит, только деньги выбросишь зря.

Боялся Ефим, что если не купят его в аулах, значит, продадут в туретчину. А оттуда дороги на родину заказаны, сгниешь в том рабстве.

Купили Полового в далеком горном ауле. Хозяин, старый хмурый человек, набил ему на ноги тяжелые колодки, и с утра до поздней ночи крутил Ефим мельничный жернов. Так прошло лето...

Впрочем, это лето принесло Ефиму и кое-что новое. Понемногу научился казак понимать гортанную речь черкесов. И даже дружок у него завелся.

Сосед, худощавый, болезненный джигит Алий, часто заходил во двор хозяина Ефима. Посидев с хозяином, он обычно перебрасывался несколькими фразами с пленным казаком. Иногда через низкий плетень передавал ему гостинец – кусок сыра или жареную баранину. По всему было видно, жалел молодой черкес пленника, сочувствовал ему.

Как-то вечером, когда Ефим отдыхал под старой грушей, воспользовавшись отсутствием хозяина, Алий подсел к нему и словно случайно, от нечего делать, стал рассказывать, как самым ближним путем добраться до Кубани.

В одну из темных ненастных осенних ночей, сбив колодки, Ефим бежал.

Хмурый, неприветливый выдался сентябрь. Все дни, не переставая, шел дождь. Он вволю напоил землю, и она уже не принимала влаги. Деревья гнулись от сырости.

В такое ненастье особенно трудно приходилось казакам-пикетчикам. Одежда – хоть выжимай. С гор ветер ледяной срывается. А сидеть нужно тихо, не шелохнувшись.

Прикрыв полую затравку ружья, Федор вглядывается через туманную дождевую завесу в противоположный берег. Тяжелые капли ударяются о воду, пузырятся. Кубань – мутная, злая.

Четвертый месяц пошел, как Дикун на кордоне.

– Зараз бы закурить, – вздохнул сидящий рядом казак Незамаевской станицы Осип Шмалько, – да табак отсырел.

Федор ничего не ответил.

Посопев, Шмалько достал из-за пазухи краюху хлеба, отломил кусок товарищу. Мокрый хлеб превратился в тесто. Лениво пережевывая безвкусный мякиш, Дикун покосился на Осипа:

– Ну и казачина! Другого такого на всей Кубани не найти!

Великан, с большими мозолистыми руками, он силой отличался завидной. Рассказывали про него такой случай. Когда казаки переселялись на Кубань, воз с провиантом застрял в густом месиве грязи. Кто-то из подошедших казаков в шутку сказал ездовому:

– Не надрывай коней, вон Шмалько идет.

Шутка задела Осипа. Упершись плечом в задок воза, он поднатужился и под гул одобрений сдвинул его с места.

Шмалько ел с аппетитом. Проглотив последний кусок, он снял шапку, перекрестился.

– Боже милостив, буди мне, грешному.

Федор усмехнулся и подумал: «Нет, что-то не милостив господь к нам, грешным!» Вот-вот должна была подойти смена. Вдруг Осип указал на противоположный берег.

– Гляди!

Из кустов выбежал человек. У самой воды он остановился и стал поспешно раздеваться. Сбросив одежду, человек широко перекрестился и бросился в воду. Река подхватила плывущего, закрутила, ударила мутной волной по голове. Но человек вынырнул и широкими саженками поплыл к русскому берегу.

– Сюда держит, – тихо сказал Осип.

Человек не доплыл еще и до середины реки, как из леса наметом выскочило трое верховых. Передний, подскакав к берегу, что-то закричал. Конь закружился на месте. Всадник выхватил из чехла ружье. Подскакали другие. Посовещавшись, двое подъехавших, скинув на землю бурки, направили коней в воду.

– Абреки! Приготовсь, Осип! – проговорил Федор.

Уложив поудобней пищали, казаки продолжали следить за абреками. Расстояние между пловцом и его преследователями сокращалось. Сильные черкесские кони плыли быстро и легко.

– Живым хотят взять, не иначе из плена сбежал...

Осип промолчал, только крепче сжал пищаль.

Пловец был уже недалеко от берега, когда передний черкес почти настиг его.

– Боже, помоги! – промолвил Шмалько.

Почти разом грянули две казачьи пищали, и когда дым рассеялся, Дикун и Шмалько увидели, что по Кубани, уже к другому берегу, плывет один из абреков. Второго не было видно. Только конская голова торчала из воды. А беглец, приплясывая на прибрежной гальке, размахивал руками и кричал:

– Братцы!

– Да то Ефим! – узнал Шмалько. – Ей-богу, Ефим Половой, из Дядьковской. Его этим летом абреки на линии схватили. – Он откинул пищаль и крикнул: – Ефим!

– Осип?!

Казаки бросились друг к другу.

– Живой, чертяка, смотри, – радовался Шмалько, по-медвежьи обнимая друга.

Ефим, хитро подмигнув, проговорил скороговоркой:

Ходэ гарбуз по городу,
Пытается своего роду.
Чи вы живы, чи здоровы,
Вси родичи гарбузови.

– Вот бисов сын, все такой же! – Скинув свитку, он протянул ее Ефиму. – На, надевай! Да извиняй, на кордон придется без штанов тебя доставить.

– Не беда! Спасибо, братцы, выручили. Не гадал, что нехристи у самой хаты меня подстерегут. Где вас бог взял?

Подошел Дикун.

– Гляньте, – указал он на реку, – а конь-то не уходит. – Лошадь убитого описывала круги на том месте, где утонул хозяин. – Умная!

– Поймать бы.

– Попробуем. – Дикун не торопясь разделся, полез в воду.

Черкесы на том берегу, догадавшись, что затевают казаки, стали звать лошадь.

Холодная вода сковала тело. Зайдя по грудь, Федор поплыл. Черкесы все кричали, протяжно, заунывно.

Заметив подплывавшего, конь пугливо покосился, заржал. Отпрянул в сторону.

Ухватив поводок, Дикун влез в седло, ласково похлопал по холке, направил к берегу. С того берега выстрелили, но пуля где-то ушла в воду, и Федор ее даже не услышал.

На берегу конь шумно встряхнулся, запрядал ушами. Подошли Шмалько и Половой.

– Добрый конь, – в один голос проговорили оба.

Привязав лошадь, казаки зарядили пищали. По берегу, разбрызгивая воду, на рысях приближался конный разъезд.

– Есаул Смола скачет, – узнал старшего по кордону Дикун. – Думал, что абреки переправились.

– По какому такому случаю стрельбу подняли? – с ходу закричал есаул и, осадив коня, строго спросил у Полового: – Кто будешь?

– Казак Дядьковского куреня Ефим Половой. Сбег от черкесов, – отрапортовал Ефим.

- А конь чей? – спросил Смола, окидывая быстрым взглядом привязанную лошадь.
- То Дикун трофей, – ответил Шмалько.

Передав повод казаку, Смола подошел к привязанной лошади, заглянул в зубы, провел по груди.

– Слушай, Дикун! Ведро горилки на распой и обмундирование для Полового за коня даю, – поворотился Смола к Федору. – Сам суди, негоже казаку в курень голым являться!

- Отдавай, чего там, – бросил кто-то из верховых.

Федор посмотрел на коня, перевел взгляд на Ефима. – Раз для товарища, согласен...

Когда разъезд скрылся с глаз, Шмалько зло бросил:

- Хапуга! Дарма такого коня выцыганил.

Федор безнадежно махнул рукой.

- Все равно забрал бы, что с ним сделаешь...

На древнем кургане, насыпанном неведом когда, накрепко врос казачий сторожевой кордон. У небольшой землянки, крытой мелким чаканом, сигнальная вышка. День и ночь ходит на ней дежурный казак. Заметит неприятеля и замаячит сигнальными шарами. Этот сигнал подхватывают на другом кордоне, и идет тревога по всей линии. А ночью, чтоб о неприятельском налете сообщить, зажигают на высоком шесте пук просмоленной соломы...

В хмурый полдень свободные от наряда казаки пропивали дуван Федора. Есаул Смола привез за коня обещанное ведро вина.

Все сидели у входа в землянку. Лезть в эту низкую, полутемную сырую нору, провонявшую потом, сыростью, дымом, – никому не хотелось. Там только ночевали.

На легком огне костра, в подвешенном на треноге казане, булькал кулеш. Казаки сидели вкруговую – и также вкруговую гуляла глиняная кружка.

– Добрая горилка, шо мед, – вытирая ладонью обвисшие усы, промолвил казак, сидевший рядом с Дикуном.

Федор, выпив свою порцию, передал кружку следующему.

– А ну, бисовы диты, дайте покажу, як у нас на Запорожье пили, – раскатисто пробасил седоусый казак.

- Покажь, Чуприна!

Чуприна зачерпнул полную кружку вина, поставил на тыльную сторону ладони и, осторожно поднеся ко рту, зажав край кружки зубами, отнял ладонь. Затем, медленно опрокидывая голову, начал цедить горилку сквозь зубы и, когда посудина опорожнилась, отнял ее ото рта.

– Добра, да мало! – молодецки выкрикнул он и, лукаво улыбнувшись, вскочил. – А ну, сынки, дайте круг!

Вскинув руками, старый казак пошел выбивать лихого гопака, приговаривая:

Гоп, кума, не журись,
Туда-сюда повернись!

– Ай да Чуприна! Вот тебе и старый! – смеялись молодые казаки. – С таким-то брюхом, а как жарит!

Вслед за Чуприной, скинув свитку, в круг вошел Ефим Половой. Он носился за дюжим Чуприной вприсядку, выбрасывал замысловатые коленца.

Закончив плясовую, Чуприна грузно плюхнулся на землю. Рядом с ним, переводя дух, умогнулся Половой.

– Эй, Ефим, расскажи, як ты эту отметину заслужил, – хитро подмигнул Дикуну Шмалько, указывая на подковообразный шрам на щеке у Полового.

Ефим потер щеку, развел руками.

– А что тут казать. Хлопец я был вредный. «Дуже добрый», – казал мой дед. Больше всего я над ним потешался. А делал так, чтобы старый об этом не догадывался. А как догадается, то держись. Схватит за хохол и таскает по двору: «Вот, – каже, – день субботний». Знал я, что за дедом грех водился: боялся он дюже жаб. Как увидит, так и плюется. Говорил, что бородавки от них. Вот однажды подстерег я, как дед на рыбалку отправился сетки ставить, наловил цибарку жаб, да на зорьке ту сетку потрусил, а вместо рыбы жаб понапутал, а сам запрятался, жду. Только солнце занялось, смотрю, дед рысцой трусит. Подбежал до речки, перекрестился – и в воду. Добрел до сетки, поднимает край из воды, а жабы – ква-ак, ква-ак. Дед плюнул, прошел шаг, опять поднял, а они: ква-ак, ква-ак.

Чую, бормочет дед: «Шо це такэ?» Прошел он вдоль всей сетки, и везде только жабы квакают. Плюнул дед, вытащил сетку на берег и давай тех жаб отцеплять. Ничего он тогда не сказал, а, видать, догадался, чьих рук дело.

Вечером уснул я, и снится мне, вроде прилетели ко мне ангелы, берут меня под руки и несут в небеса. Ого, думаю, в святые попал. Только что-то больно мне подниматься. Невтерпез стало, открыл глаза, а это меня дед за хохол с лежанки тянет.

Завопил я благим матом да как сиганул, сбил деда с ног да в дверь. В руках у него только добрый пучок волос остался. Выскочил да в огород, а дед за мной. Я через плетень, а сучка-то и не заметил. Вот он мне эту памятину навек и оставил. – Ефим провел рукой по шраму.

Один из казаков, помешивая кулеш, повернулся к сидевшему в стороне Дикуну.

– Слышь, Федька, принеси воды. Твой черед.

Взяв ведро, Федор направился к реке. Тяжелые тучи стлались над степью, туман грязно-серыми космами цеплялся за сторожевую вышку, слегка покачивая сигнальный шар. Холодный ветер катал вырванную с корнем сухую траву, рыскал по балке и свистел, нагоняя тоску.

Поеживаясь от ветра, Федор смотрел на мутную, холодную реку. И вдруг припомнилось хрустальное, весеннее утро, Кубань, рыжая круча, вербы... И девичье тело – легкое, гибкое, крепкое, прильнувшее к его груди...

«Эх, Анна, Анна!» – вздохнул Федор.

Спускаясь по узкой тропинке к Кубани, он подумал: «Через полмесяца сменят...» И так потянуло его в станицу, что были бы крылья – так бы и полетел.

Глава V

У Степана Матвеевича Балябы был гость. Проездом заехал к нему старый знакомец Григорий Кравчина.

Гость и хозяин ужинали в горнице. Кравчина сидел в углу, густо увешанном образами. В затылок ему скорбно смотрела святая богородица. Под потолком слабо тлела лампада. От огонька кверху поднималась тонкая струйка копоти.

У стены стоял большой сундук, окованный железными полосами, напротив деревянная кровать с пышно взбитыми подушками. Над ней висит тяжелая пицаль, кожаная пороховница. По стенам развешены сабли турецкие, пистолеты, кинжалы. Земляной пол помазан разведенным коровьим пометом, и запах его стоит в горнице.

– Суета сует мирских, – вздыхает Кравчина, зоркими глазами ощупывая толстобрюхий сундук, кинжал в серебряных ножнах.

«Ишь, старый черт, сколько добра надуванил!» – с уважением подумал гость.

Обглодав гусиную ногу, он швырнул кость под стол, вытер руки об льняную скатерть.

Из кухни, держа перед собой пирог, вошла Анна. Убрала пустые миски. Почувствовала, как колючие глаза гостя осмотрели ее с ног до головы. Смутилась. Когда вышла, Кравчина как бы невзначай бросил:

– Красивая дочка у тебя, Матвеевич... Цветок!

– Бог не обидел... Так, стало быть, давай, Митрич, выпьем, чтобы, как говорится, не первую, не последнюю.

Гость и хозяин снова выпили. Развязав очкур, Кравчина ослабил пояс шаровар, отрезал кусок пирога. Ел с жадностью. Коричневатая тушеная капуста падала на колени, на пол.

Через стену слышно было, как переговаривалась атаманша с дочерью.

– А ты, Митрич, стало быть, еще не женился? – словно невзначай полюбопытствовал Степан Матвеевич. Он заметил жадный взгляд гостя, брошенный на Анну, сразу прикинул:

«Зятек был бы что надо! Оборотистый, ловкий, пальца в рот не клади...» Можно было бы доброе дело завернуть: в Кореновке хлеб дешевый, а в Екатеринодаре он всегда в цене. Опять-таки, у мирных черкесов здесь овец можно по дешевке скупать да с большим барышом перепродавать... А можно и без денег – шепни только казакам-гультям – за штоф водки стадо у черкесов угонят.

– Да, жениться-то тебе уже пора, казак! – продолжал плести сеть атаман.

– За делом некогда, – отрывая, отшутился Григорий. – А вот я погляжу, да к тебе сватов и зашлю, – подморгнул он.

«Ключуло, видать!» – подумал Баляба и посмотрел на Кравчину. Тот сидел нахохлившись, горбоносый, с нависшими бровями – ястреб ястребом.

– Ты не смотри, что я уже в годах. А коли сватам не откажешь, жалеть не будешь.

Степан Матвеевич снял нагар со свечи. Тающий воск скатывался на стол, застывал лужицей.

– В годах, да с достатком, – кивнул головой Баляба.

– Это ты правду, Матвеевич, говоришь. Я при хорошем достатке. За меня любая пойдет, только рукой поманю. Да я на всех их... А вот твоя девка, впервой вижу, а приглянулась... Прямо скажу – по сердцу она мне!

В дверь заглянула атаманша, поманила хозяина пальцем.

– Посиди трошки, я зараз, – Степан Матвеевич, слегка покачиваясь на нетвердых ногах, вышел.

Опершись о бока, Евдокия сердито прошептала:

– Ты не тешь беса, старый, не суй этого нечистину в зятя – я все слышу, все вижу. Ишь, как он по девке глазищами-то шарпал. Истый волк!

– Не твое бабье дело! – цыкнул на жену Баляба. – Как захочу, так и будет! – И возвращаясь в горницу, нахмутив брови, бросил с порога: – Евдокия, стели гостю, на покой пора.

На Кубани осень капризная, переменчивая. Иногда сентябрь выдается холодным, пасмурное небо назойливо сыплет дождем, а в октябре – ноябре вдруг прояснится, и тепло, повесенному пригреет солнце. В такую пору в степи зеленой щетиной выбивается молодая трава, расцветают поздние цветы. Ночи стоят тихие, в иссиня-чистом небе рассыпанными монистами мерцают звезды. И кажутся они совсем рядом – протягивай руку и срывай.

Таковыми ночами в станицах водят хороводы. Звонко поют девчата и парни, не расходятся по домам до третьих петухов, до розовой зорьки на востоке.

Федор и Анна сидят над обрывом реки. Горячей ладонью Федор гладит ее волосы, нежно целует щеки, лоб...

– Когда ж мы вместе будем? – шепчет Федор. Молчит Анна.

А в то самое время, уложив гостя, Степан Матвеевич вышел на улицу, постоял недолго у ворот, огляделся по сторонам и осторожно зашагал к Лукерьиной хате.

Под ноги, заливаясь звонким лаем, подкатился соседский щенок.

– Геть! – Баляба выдернул из плетня хворостину. Напуганный щенок нырнул в подворотню. – Атамана не узнает... Я тебе покажу нечистых, – пьяно бормотал Степан Матвеевич.

Вот и хата вдовы. Маленькие окна, как веками, прикрыты ставнями. Баляба корявым ногтем долго стучал по ставне. Никто не ответил.

– Лушка! – припав к окну, позвал он. Но снова никто не отозвался. – Спит, чертовка!.. А вот я тебя в другое окно покличу! – атаман, держась за стену, обошел вокруг хаты. – Я тебя знаю... Я еще не забыл, вре-ешь...

Его качнуло, и он ухватился за плетень. И вдруг в неясном свете, под грушей, разглядел две прижавшиеся друг к другу фигуры. Они сидели на самой круче.

Голоса их показались Балябе знакомыми.

– Ишь ты, – прошептал он и неслышно, крадучись, перешагнул через плетень.

«Не иначе, Анна. А то никак Федька!»

От гнева у Степана Матвеевича застучало в висках. Он осторожно вытащил из плетня гибкий ивовый прут и с размаху, с выдохом, хлестнул по белой свитке. Потом прут опустился на плечи женщины.

– А вот тебе! А вот тебе...

И вдруг изумленный Баляба разглядел обвисшие черные усы, длинный коршунячий нос, а рядом – круглое женское лицо.

– Лушка! А это никак ты, кум Терентий?! – узнал Баляба. Хмель у него как рукой сняло: – А я думал, Федька. Попутал нечистый.

Он отбросил хворостину. Но не успела она коснуться земли, как вдова, подбоченившись, шагнула к нему.

– Ах ты, кобелина старый, – размахивая кулаками, визгливо закричала Лукерья. – Да ты что мне за указка! Федька! Федька! А тебе что за дело, дьявол ты этакий.

– Тьфу, бесстыжая, – плюнул атаман. Он нагнулся за хворостиной, но тут же, заметив, что кум засучивает рукава, отступил к перелазу. Вслед ему Лукерья выкрикнула:

– Иди свою журавлиху длиннободылую поучай...

– Ну и баба, зловредная баба, – пробормотал уже за плетнем атаман.

Кравчина проснулся с головной болью. Во рту было скверно, тошнило. Сквозь тусклые стекла пробивался бледный рассвет. Сбросив лоскутное одеяло, Григорий сел, свесив ноги. Деревянная кровать под тяжестью тела жалобно застонала.

Почесав заскорузлой пятерней волосатую грудь, он смачно сплюнул на земляной пол и, накинув кожух, вышел во двор.

Молочный туман растекался по земле. Тянуло предутренним холодком. В конюшне, позванивая недоуздками, жевали овес кони.

Григорий зябко поежился и вдруг выпрямился, словно подстегнутый плетью. Мимо него к сараю, с подойником в руках, пробежала Анна. Широкая юбка подоткнута у пояса, и Кравчине видны белые, как сметана, коленки. Воровато оглядываясь по сторонам, он прошмыгнул в сарай, затаился в густой тени.

Присев на низкую скамейку, Анна доила корову. Движения ее рук ловки и быстры. Струи молока звонко бьют о стенки подойника. Нетерпеливая корова перебирает ногами.

Время тянется томительно. Кравчина нервно подрагивает, не сводит глаз с Анны. Наконец она поднялась и, подхватив тяжелый подойник, пошла к выходу.

Выйдя из темноты, Кравчина заступил ей дорогу, схватил за руку. Другая ладонь, горячая и потная, обожгла шею девушки.

– Анна! – выдохнул он, обдавая ее водочным перегаром, и потянул к себе.

Анна напряглась, откинулась назад, хотела крикнуть. Но Кравчина, попятившись, отступился и выпустил ее руку. Анна вывернулась и опрокинула ему на голову подойник. Теплое молоко полилось за воротник, растеклось по телу.

– Подлюка, – протирая глаза, ругнулся Кравчина вслед Анне. – Все одно меня не минешь!

Глава VI

Ясный вечер опустился на станицу. Багряный диск солнца постоял на самой окраине степи и нехотя полез за горизонт. День стал заметно короче. Казаки давно уже перевезли со степи сено, и запах сухих трав висел над станицей.

Вернувшись из правления, Баляба, с зажатой в зубах люлькой, хозяйственно прохаживался по двору. Крепкий самосад разьедал горло, назойливо лез в глаза. Степан Матвеевич щурился, поминутно кашлял, разглаживая черные с проседью усы. Легкий ветерок ворошил оброненный пучок сена, катил его по двору. Баляба вытащил изо рта люльку, позвал:

– Митрий!

Из сарая вышел тот самый рязанский мужик, которого Баляба обещал приписать в казаки. На нем все те же лапти, те же холщовые штаны и выгоревшая, пропотевшая рубашка.

– Ты подкладывал скотине?

– Подкинул, хозяин, подкинул.

– Подкинула б тебя нечистая. Это что? – Быстрым движением Степан Матвеевич поднял сено, ткнул под нос работнику. – Не свое, стало быть, хозяйское, так и не жалеешь. Ишь, дорогу выстелил!

– Почто ругаешься, хозяин, тут самая малость сенца-то упала! Да я бы и сам подобрал.

– Сразу надо подгрести! Руки повысыхали, что ли? Больше жрешь, чем работаешь. – Продолжая ругаться, Баляба направился к хате.

Из-за поворота улицы вывернула тачанка. Здоровенный казак, откинувшись, осадил сытых коней у атаманских ворот. Баляба затрусил навстречу, распахнул ворота. В приехавших он узнал Хмельницкого, дальнюю родню покойного гетмана, и куму Марфу, жену кореновского атамана. Сердце забилося от доброго предчувствия: «Не иначе, сваты от Кравчины». Степан Матвеевич ждал их с того дня, как кореновский богатей побывал у него.

– Принимаешь гостей, атаман? – низким басом пророкотал Хмельницкий. – Мы с Марфой к твоей милости.

– Просим, просим, гостям завсегда рады, – засуетился Баляба. – Митрий, коней выпряги, сена подложи!

Хмельницкий грузно соскочил с тачанки и помог сойти своей дородной спутнице.

– Надумали мы, Степан Матвеевич, провести вас да заодно на крестницу посмотреть. Она у тебя, говорят, красавица, – нараспев проговорила Марфа и, подобрав пышные юбки, первая проплыла в хату. С хозяйкой она расцеловалась, справилась о ее здоровье.

Евдокия полотенцем смахнула со скамейки невидимые пылинки, пригласила гостей присесть.

Разговор клеился плохо: говорили о разном, о хозяйстве, о полках, ушедших в польский поход, о многом другом, не решаясь приступить к главному.

Наступили сумерки. Евдокия зажгла каганец, поставила на стол. Наконец Марфа решила, что пора приступить к делу. Она толкнула Хмельницкого в бок: начинай, мол. Но тот, считая, что быка надо брать за рога после двух-трех шкаликов, оттягивал разговор. Тогда Марфа сама не выдержала.

– Вот какое дело, дорогие кумовья, смотрела я на крестницу мою, невеста хоть куда. А у нас на примете и жених для нее подходящий сыскался. Вот и будет – ваш товар, наш купец. Богатством его бог не обидел, да и с лица неплох.

Тем временем Хмельницкий внес со двора заткнутый тряпицей объемистый глиняный кувшин. Он привез его под сиденьем тачанки.

Степан Матвеевич, у которого ответ был уже заранее готов, для вида решил покуражиться.

– Да товар наш, дорогая кума, еще не залежалый, можно и подождать. Как ты думаешь, мать?

Евдокия пожала плечами.

– Надо и у Анны спросить.

– Как? – Баляба гневно стукнул кулаком по столу. Жилы на впалых висках вздулись синевой. – Я кто ей? Как скажу, так и будет!

– И, дорогая Евдокия, к чему спрашивать, – развела руками Марфа. – Станет ли послушное дитя родительской воле перечить? Чи у нас с тобой спрашивали?

Евдокия только вздохнула. А Степан Матвеевич уже спокойней приказал:

– Готовь вечерять. А с хорошей закуской да доброй горилкой, – он постучал по кувшину, – и ответ разумный будет.

Прильнув ухом к двери, Анна затаила дыхание. «Что скажет отец?» Мелкий озноб бил ее. Вначале она надеялась, что отец откажет сватам. Но когда он закричал на мать, Анна поняла, отец твердо решил отдать ее за Кравчину.

К горлу подкатил комок. Первым желанием Анны было вбежать в горницу, упасть родителям в ноги, умолить их. Но девушка знала, что крутой и своенравный характер отца не переломить.

Сутулясь, вышла во двор. Слезы словно сами собой катились из глаз. Добравшись до плетня, Анна уцепилась за кол обеими руками и заплакала горько, с надрывом.

Сгущались сумерки. Напротив, во дворе, показалась мать Федора. Она прикрыла дверь курятника, подперла ее колом. Анна перебежала дорогу, из-за плетня окликнула негромко:

– Тетка Пелагея!

Дикуниха оглянулась на зов и подошла к плетню неторопливой, усталой походкой.

– Цэ ты, Анна? Да никак плачешь? – удивилась она.

– Тетка Пелагея, мне б Федора повидать, – переборов смущение, попросила Анна.

– И-эх, милая, – подавила вздох Пелагея. – Там он, в балке, хворост вяжет.

Узкой тропинкой Анна пересекла огород. Еще издали заметила Федора. Он стоял перед большой кучей хвороста.

Увидев Анну, он быстро пошел к ней навстречу, на ходу вытирая руки о полу свитки.

– Федор, сваты к нам приехали...

– Сваты? – только и переспросил он. – Та-ак!

– Федор! – голос ее сорвался, крупные слезы потекли по щекам. – Я к тебе шла, думала, ты утетишь...

Она повернулась к нему спиной.

Федор обнял ее за плечи, почти насильно усадил на связку хвороста. Ладонью отер горячие слезы на ее лице.

– Тяжко мне, Федор, душа болит...

– А у меня не болит? Но что, что делать? Научи!

– Не знаю...

– Попроси отца.

Она покачала головой.

– Нет, отца не уговорить...

Огрубевшими от работы руками она теребила его жесткие волосы, гладила непокорный чуб.

– Бежать бы отсюда, любый!..

Федор не ответил. Он словно погрузился в какое-то забытье.

– Что ж ты молчишь? Или боишься?
– Нет, Анна, никого я не боюсь! Но куда бежать?
– С тобой, Федор, хоть на край света пойду...
– Мы и так на краю света.
– За рубеж бежим... За Кубань, к черкесам... Или в степь, к нагаям...
– В степь? – снова переспросил Федор. И ткнулся лицом в ее колени. – Не могу, Аннушка, прости – не могу! Не в силах я мать бросить – одна она у меня... Сколько сил на меня положила, чтоб на ноги поставить, когда отец в бою смерть принял. А сейчас она старая, больная, еле ходит. Видать, не судьба нам...

Девушка поднялась.

– Может, ты и правду говоришь. – Голос ее вдруг стал безразлично спокойным.

Она повернулась и пошла обратно.

– Куда же ты, подожди! – Федор схватил ее за руки, пытался удержать.

– Нет, прощай!

Она вырвалась, откинула косынку и торопливо пошла от него.

А через месяц у Кравчины гуляли свадьбу – разгульную, с песнями, с лихим посвистом и плясками.

Ради такого случая Степан Матвеевич не поскупился: наварили два бочонка горилки, зарезали трех овец да годовалого бычка, из Ачueva подвезли воз свежей рыбы.

Три дня пили у невесты, три дня у жениха. Почитай, две станицы ходили пьяными.

Атаман Баляба словно помолодел – голову побрил, во все новое оделся. Жених тоже ходил гоголем: усы лихо подкручены, волос с проседью напыжен, блестит. Он все время рядом с невестой, глаз с неё не спускает.

Но Анна все эти дни сидела, как на похоронах, – глаза от слез красные, лицо восковое. Ни улыбки, ни слова.

На свадьбе долетел до Кравчины злой шепоток: «Силком берет».

Григорий нахмурился. Исподлобья поглядывал на невесту. Улучил время, сказал тестю:

– Може, и не по себе дерево рублю?

– Ты, Гришка, на баб не смотри, что они нюни распустили, – успокоил его Баляба.

Но вот пришел час отъезда. С шумом, пьяными криками вывалили гости на улицу, где стояли наготове тройки. В толпе глаза Анны разыскали Федора. На миг взгляды их встретились, и тут не выдержала она, покачнувшись, закрыла лицо руками. Все примолкли, даже самые пьяные. Подружки подхватили Анну, усадили в тачанку, рядом с нахохлившимся женихом, и тройки, одна за другой, позванивая бубенцами, понеслись по станице. А там, за околицей, привстал дружок, разобрал вожжи, гикнул, и помчалась тачанка так, что только ветер морозный засвистел в ушах.

Пьяный азарт захватил Кравчину. Он вырвал у дружка кнут, с диким визгом хлестнул по пристяжной и, оскалив рот, что-то бессвязно кричал навстречу ветру.

Распластались в стремительном беге сытые кони. Под сбруей мыло, изо рта пена летит ключьями. Кружится все перед глазами у Анны, рябит. А вокруг, куда ни глянь, тоскливая, голая, плачущая степь.

Станица родная исчезла, растаяла в синеватом морозном тумане...

Глава VII

Велика русская земля. От далекой глухой Сибири до царства Польского, от моря Белого за горы Кавказские распростер двуглавый орел свои крылья. Взойдет солнце на востоке – на

западе темная ночь, на востоке ночь – на западе день. Так и светит круглые сутки солнце над русской землей.

В ту зиму пушистый снег завалил улицы Петербурга, лег белыми шапками на лохматые головы елей, мороз сковал Неву толстым льдом. В лесу висит морозная тишина, и только изредка нет-нет да и звонко треснет обломившаяся под тяжестью снега хрупкая ветка.

В один из таких дней к закрытому шлагбауму Петербургской заставы рысью подъехал верховой. Из будки, держа ружье под мышкой, вышел солдат. Лицо его закутано шерстяным башлыком, только глаза и нос видны.

– Далече ли?

– Открывай, служивый, не задерживай! Гонец от самого графа Зубова. С письмом на Кубань!

Солдат поспешно поднял шлагбаум.

– Счастливый путь! – И про себя подумал: «Видать, срочный эстафет, коль в такую лютость погнажи курьера...»

Много дней прошло и не одного коня сменил гонец, пока дошел тот пакет до войскового судьи Головатого.

Антон Андреевич хмуро оглядел пять сургучных печатей с графским вензелем, неохотно надорвал край пакета, вытащил исписанный лист.

«Милостивый Антон Андреевич! – писал личный секретарь всеильного вельможи. – Его сиятельство граф Платон Александрович пишет вам, чтобы вы с командой черноморцев в два полка шли в Астрахань, под начальство графа Валериана Александровича Зубова для участия в Персидском походе...»

С тем же недовольным видом читал войсковой судья громкие фразы о вероломстве персидского шаха Мухамед-али, разорившего грузинское царство и строящего козни против России.

Недаром кое-кто из петербургских завистников звал Антона Головатого старой кубанской лисой. В борьбе за власть познал Антон Андреевич и хитрость польских панов, и вкрадчивую льстивость турецкой дипломатии, и коварство отцов-иезуитов. И все эти уроки не прошли для него напрасно,годились...

Каждый год по несколько раз отправлялись с Кубани в Петербург возки с подарками вельможным покровителям Антона Андреевича. Везли в «Северную Пальмиру» и душистый кубанский мед, и ачуевскую икру, и жирных копченых рыбцов, и серебряное с чернью черкесское оружие, прославленное своей закалкой и красотой. Поэтому и знал Антон Андреевич обо всем, что делалось в Петербурге. Знал он заблаговременно и об этом Персидском походе...

Последний фаворит стареющей императрицы Екатерины светлейший граф Платон Зубов хотел какими-либо талантами и победами добыть себе славу. Нужно это было молодому честолюбцу потому, что он видел ясно – недолго протянет императрица. А с ее смертью кончится и его всеильная власть, если... Если он не докажет свою необходимость русскому престолу. Во имя этого и затевался Персидский поход. И командование войсками возлагалось на брата Зубова – Валериана... Все, все знал Антон Андреевич Головатый!

«Бисова баба! – непочтительно обозвал он в мыслях всеильную повелительницу земли Российской. – В гроб смотрит, а со смазливими мальчишками амуры водит...»

Задумался Головатый. Да и было отчего. Вот уже почти два года, как увел кошевой два конных полка в польские земли и задержался с ними там. Отписывал Чепега, что не раз уж обращался с просьбой о возвращении полков на Кубань, да все не велят...

Немало и граница кубанская отбирала войска. Приходилось ежечасно наготове быть, все время турков остерегаться.

Грузно ступая, Головатый вышел в соседнюю комнату, где за деревянным барьером три писаря усердно выводили какие-то реляции.

– Кликни ко мне Тимофея Терентьевича, – обратился он к пожилому дежурному казаку, вскочившему при появлении войскового судьи.

Отдав приказание, Головатый снова ушел к себе в кабинет. Почти вслед за ним вошел худошавый, моложавый войсковой писарь Котляревский. Глядя на сияющий золотым шитьем генеральский мундир войскового писаря, Головатый недовольно поморщился. Тимофей Терентьевич Котляревский выделялся из всей казачьей старшины своей приверженностью ко всему армейскому. Он быстро отказался от старых казачьих устоев и свою удачную карьеру старался окончательно закрепить откровенным пресмыкательством перед чиновным Петербургом. Старшины и все казачество его недолюбливали за гордый нрав и стремление властвовать, но в то же время и побаивались, зная, что войсковой писарь обиды помнил долго. Зато начальство Тимофея Терентьевича ценило, так как он, видимо, научившись у Головатого, почти каждую весну и осень отправлял в Петербург балыки, икру паюсную и другие подарки.

– А ну читай, Терентьевич, оцю цидулку, – быстро перестроившись на украинский говор, сказал Головатый, протягивая Котляревскому письмо из Петербурга.

Бегло просмотрев его, войсковой писарь отложил лист в сторону.

– Что мыслишь ты на этот счет, Тимофей Терентьевич?

– Думай не думай, а предписание сие выполнять надобно, – сухо ответил войсковой писарь.

– Да-а! – недовольно протянул Головатый, словно ждал от Котляревского иного ответа. – Не выставить нельзя. Письмо это – монаршая воля. Да вот кого в поход отправлять?..

Котляревский пробарабанил длинными пальцами по дубовому столу.

– Представим сие на усмотрение станичных атаманов, им видней. Пускай всех неспокойных, кои порядками нашими недовольны, и отправят в поход...

«Ух, и хитер, бестия! – подумал Головатый. – Хитер, иезуит!»

Вслух войсковой судья спросил:

– А полковниками? – Я мыслю Тиховского и Чернышева...

– Что же, против второго не возражаю, а Тиховскому на кордоне сподручней. А как мыслишь насчет Великого? – Головатый, хитро прищурившись, взглянул на войскового писаря.

Великий – свояк Котляревского по сестре, и Головатый, предлагая послать его в поход, тем самым удалял из Екатеринодара одного из сторонников Котляревского, которому по старшинству предстояло во время пребывания Головатого в походе остаться до возвращения кошевого за него.

Предложение войскового судьи пришлось явно не по душе Котляревскому, но он не подал вида:

– Можно и Великого...

– Ну и добре! Вели, Терентьевич, отписывать по станицам, пусть людей ведут в Екатеринодар. С этим медлить незачем.

– А что, Антон Андреевич, сам возглавишь команду, либо кому поручить собираешься? – спросил писарь.

«Ишь ты, – подумал Головатый, – небось боится, что останусь. Знает, что без меня ему полная свобода будет... Спит и видит атаманскую булаву, шляхетский выродок...» А вслух:

– Сам. Сегодня отпишу обо всем Захарию Алексеевичу, пусть поторапливается с возвращением... – И, глядя в глаза Котляревскому, добавил: – Край без войска оставлять негоже, турки ежечасно, сам знаешь, напасть могут. Так что ты, Терентьевич, имей это в виду и за границей приглядывай, чтоб кордоны надежными командами регулярно обеспечивались... А я, зная твое усердие к службе, войску Черноморскому, во всем полагаюсь на тебя!

– Суета сует мирских, – недовольно почесал затылок Кравчина, узнав, что ему предстоит идти в поход.

Ворочая ухватом в печи, Анна ничего не ответила.

– Что, небось рада? – глядя ей в спину, зло усмехнулся. С языка сорвалось крепкое слово. Не по-старчески чуткая мать свесила с печи голову.

– Ну, чего лаешься! – строго прикрикнула она на сына. С приходом невестки Марфа больше отлеживалась на печи.

Покряхтев, она слезла вниз, шаркая, подошла к крытой рушником иконе, украшенной барвинками, сухими головками мака и пахучими травами, истово закрестилась.

– Помоги, Господи, рабу твоему Григорию, да ниспошли ему помощь свою...

И повернувшись к сыну, беззубо прошамкала:

– От кордона откупился, даст бог и от этого пронесет.

Кравчина хлопнул ладонью по колену.

– Дело, мать, говоришь, дело! Анна, подай мою папаху, пойду кой с кем поговорю...

Захватив по дороге суковатую палку, он отправился в станичное правление...

Но на этот раз атаман был менее податлив, чем тогда, при посылке на кордон. Сейчас он разводил руками, куражился:

– Не, не могу, Григорь Митрич, не могу ослобонить. Ну, посуди сам, тебя ослобоню, другого, дак кому ж идти?

– Да я, Прокофьич, и не против того, чтоб пойти. Ты не подумай чего-нибудь дурного. Или я войску своему не слуга? Да вот нездоров.

Атаман прищурился. «Эк, бестия, хворый какой. А как соль возить да табуны у ногаев красть, так за ним никакой черт не угонится».

– Ты, Прокофьич, того, не подумай. Я твою службу тоже знаю и уважить всегда готов...

И озираясь по сторонам, Кравчина выложил на стол десять злотых.

Мгновенно ладонь атамана накрыла их, и деньги перекочевали в широкий атаманский карман. Лицо Прокофьевича растаяло в масляной улыбке.

– Ну что ты, Митрич, я разве враг тебе. Но ты понять должен, что выставить вместо себя тебе все ж кого-нибудь придется, – совсем другим голосом сказал он.

Кравчина задумался.

– А что, Митрич, тот наймит все еще у тебя живет? – подсказал атаман. – Может, его уломаешь?

– Так-то оно так, Прокофьич, Леонтий-то, конечно, пойдет. Я ему, прямо сказать, благодетель, – сам знаешь, мое ест и мое пьет. Да ведь не казак он еще.

– Э-э! То ли беда! Припишем враз. Ты только, Митрич, поставь магарыч обществу... Ну и того... кх... кх... Думаю, вот десяточка два овец завести...

«Чтоб ты лопнул, нечистый, – подумал Кравчина. – Придется дать».

– Есть у меня для тебя на завод добрые овечки... А Леонтию еще справу давать придется, – сокрушенно покачал он головой. – Эх-ма! Суета сует мирских...

Возвратившись от атамана, Кравчина слег. Накинув овчинный кожух, охал, тяжело ворочался. Таким Леонтий и застал его, придя с база.

– Ох, Леонтий, тяжело мне, занедужал. С ногами что-то, враз отказали... Ой! – вскрикнул он, пытаясь подняться. – Ступить не могу, в коленках крутит...

Леонтий присел рядом.

– Растереть бы, Митрич, чем-нибудь.

– Растирал, да оно не помогает. Выпить с горя... Анна! – окликнул он. – А ну подай нам по кварте да дай чего-нибудь на закуску.

Анна молча достала из-под печки кувшин самогону, поставила его на стол. Так же молча нарезала хлеба и сала и, хлопнув дверью, вышла.

После второй кружки Кравчина, как бы между прочим, спросил:

– А что, друже, дальше думаешь делать? Я думаю, пора б и челом бить, чтоб в казаки приписали?

– Я, Митрич, тоже о том подумываю...

– Кланяться обществу надо с умом. Я вот и сегодня говорил о тебе атаману – пообещал. Только, говорит, что придется тебе в поход сходить, показать, что ты за казак. Наш курень полусотню выставляет. Говорят, два полка черноморцев на персов пойдут. Так-то, друже, придется согласиться. Да что ты и за казак будешь, коли пороху не понюхаешь. А ну, давай выпьем. – Кравчина, кряхтя, снова налил в глиняные кружки пенной горилки. – За твое казачество!

Выпил Леонтий, и все в жизни показалось иным: простым, легким. А Кравчина вдруг стал самым близким, прямо родным человеком.

– Пей, пей, – хлопал его по плечу Григорий. – Вернешься из похода, я тебе, друже, помогу хозяйством обзавестись. Женим что ни на есть на лучшей красавице.

Обжигаясь, Леонтий выпил отдававшую сивушной вонью мутную жидкость.

– Вот это казак! – притворно восхитился Кравчина. – Я уж тебе и справу добрую подготавлию. Эх, кабы не хворь, пошел бы и я воевать перса... Было время, повоевал я на своем веку... Ну, пойдем к атаману...

Толкаясь у двери, они вышли из хаты и в обнимку, покачиваясь на нетвердых ногах, двинулись в правление.

Во вторник, на масляной, в Екатеринодарской крепости день начался не совсем обычно. Трижды, с перерывами, рывкнула вестовая пушка. Она разорвала предутреннюю тишину и пробудила всех жителей. Вслед за этим с колокольни войскового собора посыпался колокольный перезвон.

Из куренных казарм на майдан высыпали в полном снаряжении черноморцы, отправляющиеся в поход. Разобравшись по сотням, входили казаки в храм. Вскоре там набилось столько люда, что и яблоку негде было упасть. В церкви запахло овчиной, лампадной копотью. Казаки перебрасывались шутками, переговаривались. Казалось, что собрались они не на войну, а на гулянку. Лишь немногие стояли задумчиво, и, глядя на них, можно было безошибочно угадать, что в станицах у них остались семьи, которым нелегко будет с уходом кормильца.

Стоя у толстого деревянного столба, подпиравшего кровлю, Леонтий Малов рассеянно слушал молитву. В тусклом пламени свечей клубились облачки ладанного дыма. Иногда мелькала седая борода и красное, опухшее лицо священника. Он что-то торопливо бубнил осипшим тенором. Ему вторил зычный бас дюжего дьякона.

Леонтий нехотя крестился. С того памятного дня, когда он вынул из петли холодное тело дочери, когда увидел ее посиневшее, перекошенное смертной мукой лицо, молитвы не шли на ум Леонтию.

Кто-то позади спросил шепотом:

– Надолго уходим?

Ему ответили:

– А кто его знает. Может, на год, а может, и больше. Вон с кошевым ушли когда и до сих пор еще нет...

Рядом с Леонтием стояли высокий худой седоусый хорунжий, одетый в синюю потертую свитку и широкие латаные шаровары из красного сукна, и молодой смуглый чернобровый казак, широкий в плечах, с прямым и смелым взглядом серых глаз.

– Эх, Дикун, а то я не просился? Да атаман и слушать не захотел, – жаловался хорунжий. – А у меня семья, сам знаешь какая...

– Тут, посчитай, все такие. У кого деньги водятся, те других за себя выставили...

«Правду говорит», – подумал Леонтий.

И вспомнился ему тот вечер, когда согласился он идти в поход. Опутал его Кравчина, провел меж пальцев. Верно говорил Андрей Коваль: «Не клади, Леонтий, пальцы Кравчине в рот, враз отхватит».

Не верил этому раньше. Да Анна открыла глаза ему, рассказала, как обвели его Кравчина с атаманом.

Леонтий с кривой усмешкой оглядел свою новую одежду – штаны из битого молю сукна, дешевую свитку.

«Эх, казак, казак! – подумал он. – Как был голытьбой, так и остался!».

– А по мне, коли нет войны, то и скука, – вмешался в разговор другой казак. – Без войны казак не казак.

– И то правду говоришь. Без дела казаку негоже, – согласился с ним Дикун.

– А ну, тихо вы, горлопаны! – свистящим шепотом, метнув бешеный взгляд, проговорил стоящий впереди казак. – Люди Богу молятся, а они горланят!

Малов стал смотреть на алтарь, поблескивавший дешевой позолотой. Священник, задрав кверху седую бородавку, с деланной горячностью молился о даровании победы русскому оружию.

В церкви становилось все душнее, пахло ладаном, горелым воском, потом.

Снова невеселые мысли нескончаемой чередой потянулись в голове Леонтия.

«Вот, может, доведется на чужбине голову сложить. А Кравчина все богатеть будет. И даже не вспомнит...»

Малов оглянулся назад, где стояли казаки Кореновского куреня: ни одного богатого, все бедняки. Бросил взгляд на Дикуну.

В голове мелькнули другие мысли: «Если живым вернусь, получу походные деньги – хозяйством обзаведусь...»

В думах не заметил, как и молебен кончился. Окропил священник стоящих водой – и все. Тронулись к выходу.

Вышли черноморцы, построились по полкам и двинулись за крепостные ворота. Следом потянулись подводы.

Солнце поднялось, пригрело по-весеннему. Сырой снег осел и на шляху перемешался с грязью. С камышовых кровель падали тяжелые, словно свинцовые, капли...

Провожающие шли до последних хат, а там остановились. Поотстали и мальчишки, цеплявшиеся на подводы. Только воробы, попевая за конским следом, долго прыгали за колонной.

Шагали молча, нестройной толпой, скользя по размякшей земле. Голо, неприветно было в заснеженной степи.

«Куда-то выведет меня эта дорожка? – думал Леонтий. – К счастью? Или к могиле?»

И было ему все равно, куда идти и что делать...

Глава VIII

Седьмые сутки шли полки берегом Кубани по Дмитриевскому шляху, что вел из Екатеринодара на Ставрополь. В Усть-Лабинской крепости сутки отдыхали, получили на месяц провиант и тронулись дальше. Миновали Ладожский и Казанский редуты, впереди Кавказская крепость, а там четыре перехода – и Ставрополь. В Ставропольском укреплении предстоял небольшой отдых, после чего полки должны были взять маршрут на Астрахань.

Версты на полторы растянулись сотни и обоз. Идти тяжело, грязь липкая, ноги засасывает, под копытами чавкает, кони постромки рвут. Особенно трудно пластунам – казачьей пехоте.

Полковники Чернышев и Великий решили вести полки ночью, когда подмораживало.

Весь путь Собакарь, Шмалько и Половой старались держаться вместе – с разговорами вроде легче было идти. Шли обочиной дороги, по непримятому снегу, перебрасывались шутками.

– А что, дядько Никита, где тебе лучше, тут либо на Украине? – спросил Ефим.

– По мне, везде одинаково.

– А все ж на Днепре краше. – Осип с грустью глянул из-под нависших бровей на талый снег, местами открывший землю, степь без начала и конца и видневшиеся вдали холмы. – Там весна придет, зацветут сады... Люблю, когда цветут яблони... Цвет белый и вроде розовинка в нем.

– Оно и на Кубани есть сады! Вон, у черкесов какие – видел? И мы обживемся – разведем! – сказал Ефим. – И земли здесь вдоволь, а рыбы по речкам да лиманам – лови только!

– Есть, да не про твою честь, – возразил Никита. – И земля, и рыба для старшин да для тех, кто половчее. А таким, как мы, вместо леса – дулю, а землю отводят в таких местах, что к ней и в день не доберешься.

Миновали запыленный снегом курган. С южной стороны лысиной темнела проталина.

– Кто его насыпал? – поинтересовался Шмалько.

– А кто его знает, вроде в старину богачей так хоронили...

– Бери выше! – хмуро проговорил Собакарь. – Такие курганы, кажут, над князьями насыпали.

– Ну?! – удивился Шмалько. – Над какими это князьями?

– А бог весть какие захоронены здесь князья! Много народов по Кубани бродило. Говорил пан писарь, шо, как убивали в сражении князя, – клали его вместе со всем его достоянием середь степи да насыпали над ним курган-могилу...

Никита Собакарь с трудом передвигал длинные, голенастые ноги. Осип осторожно тронул товарища за плечо.

– Давай, друже, подмогну трошки, – предложил он. – Давай твой мешок – мне-то такой груз вроде не в тяжесть...

Осип передернул широченными плечами.

– Нет, сам понесу! – отказался Собакарь. – Надо было на возу мешок оставить...

– Оставишь, – невесело усмехнулся Осип. – Как раз обозные казачки переполовинят харчи.

– Ось я вам вот что расскажу, – начал Ефим, – был у нас в станице казак Василь Сагайда, самый что ни на есть бедняк. А у самого детей аж шесть душ, да все один другого меньше. Божьего дня тот Василь не бачил, а бился, бедолага, як рыба об лед. Вот услышал он от кого-то, что под тем курганом, что версты две от нашего куреня, зарыто золото и охраняют то золото черти. А Василь ни бога, ни черта не боялся. Ну, думает, вырою я той клад. Жинка отговаривает, нечистым страшает, а он ей показывает на своих хлопцев и в сердцах каже: «Я ось их натравлю на чертей, так всем чертям тошно станет». Каждую ночь ходил Василь к тому кургану. Дорылся до каких-то черепков, конских костей, железок, а золота все нема. А в одну ночь вырыл Сагайда людские кости, плюнул, да и не стал больше ходить. Прознал кто-то об этом да донес атаману. Вызвали Василия на сход, спрашивают: «Рыл?» Отвечает: «Было такое». Тут деды зашумели: «Всыпать ему двадцать пять горячих, шоб покойников не тревожил!» Сагайда и туда и сюда, а деды ни в какую. Сняли штаны и тут же на сходе всыпали. А после еще на кордон вне очереди отправили. Там на линии и убили казака...

Обгоняя колонну рысью, проскакал Чернышев. Ком грязи вылетел из-под копыт и угодил в лицо Собакарю.

– Мы пешком, а они верхом, – вытирая грязь рукавом, буркнул он, сердито глянув в спину полковнику.

– На то они паны, – усмехнулся Ефим.

– На моем веку у меня столько панов перебыло, что блох у собаки, – сквозь зубы ответил Никита. – Я на своих двоих столько верст оттопал, что если б это на том свете було, верно, до самого Господа Бога дошел...

Ефим переложил пищаль с плеча на плечо, спросил:

– А как Федор? Не бачили?

Еще в Усть-Лабинской при погрузке провианта Дикун, поскользнувшись, подвернул ногу. Сначала не почувствовал ничего, а потом нога распухла, и пришлось ему сесть на подводу.

– Федору легче. Лекарь водкой ногу растер – и полегчало.

– Проведаем его?

Они поотстали от сотни, пропуская колонну. Казаки брели, медленно переставляя ноги в липком месиве.

– Что, однокашники, не веселы, будто с похмелья, – окликнул идущих Осип.

– Тут будешь с похмелья, – проворчал кто-то из пластунов.

– А вон и Федор, – указал Осип на одну из подвод. Сорвав с головы мохнатую папаху, он замаячил ею. – Эгей!..

Третьи сутки трясет Леонтия лихорадка – то в жар, то в холод бросает. Лязгает он зубами, мечется на подводе.

– Пить, – шепчет Леонтий.

На минуту забудется, и в смутной памяти всплывает родная деревня, изба. Он лежит в углу, на лавке, над головой лампада коптит. Над ним склоняется худое, морщинистое лицо покойной жены Василисы: «Убивец, душегуб ты, Леонтий, – грозно говорит она, и ее добрые глаза становятся темными, суровыми. – Бросил ты Наталью на поругание...»

«Отстань, Василиса! Мне, думаешь, легко? Думаешь, моя душа не болит за Натальей? А грех я за барина с себя сымаю. Не человек он! Кровопийца! Всех их вырезать надо. Уйду к царю Петру Федоровичу! Барам красного петуха пускать будем...»

И уже перед Леонтием образ царя Петра Федоровича, которого баре Пугачевым называли. Как в те молодые годы, видит его Леонтий. Карие глаза смотрят чуть насмешливо. Он гладит рукой черную кудрявую бороду и говорит: «Служи мне, Малов, верой и правдой, за это жалую тебе и детям твоим полную свободу».

Леонтию становится жарко, он сбрасывает овчинный полушубок, пытается подняться, но чьи-то руки укрывают его, подкладывают под голову охапку сухого сена.

– Лежи, лежи, казак!

Леонтий открывает глаза и видит склонившееся над ним скуластое лицо и серые, подоброму смотревшие на него глаза.

«Где я его видел?» – силится припомнить Леонтий.

– Лежи спокойно, теперь уже на поправку пойдет, – говорит незнакомец, поднося к губам больного кубышку с водой.

«И голос знакомый, – думает Леонтий. И неожиданно вспоминает: – Да это же тот казак, который в церкви рядом стоял со мной. Как его зовут? Петро? Нет, не Петро... Иван? Нет. – Леонтий напрягает память. Вспомнил и обрадовался. – Федор! Федор Дикун...»

Где-то впереди неслась песня. Кто-то разухабисто присвистывал.

Леонтий с трудом приподнял голову, глянул по сторонам.

Сырой ветер с запада косматил гривы лошадей, назойливо лез в лицо.

В стороне от дороги поднялся заяц. Понюхал воздух, раскосыми глазами взглянул на человеческую ленту и большими скачками понесся в открытую степь.

– Ату его! Держи! – гикнули из рядов. Кто-то свистнул протяжно, оглушительно.

– Ты с какой станицы? – дружелюбно спросил Федор, протягивая больному кусок хлеба с копченым мясом. – Ешь, а то совсем ослабнешь!

Леонтий нехотя откусил кусок жесткой, пахнувшей дымом козлятины и вдруг почувствовал голод. Уже охотно, торопливо он стал есть сыроватый хлеб и жилистое мясо. Дикун, улыбаясь, дал ему еще хлеба и луковицу.

– Так откуда будешь, казак? – вновь спросил Федор, когда Леонтий поел и запил свой обед водой.

– А кто его знает, откуда я! – с тоской выговорил Леонтий. – Беглый я, с Волги... А жил в Кореновской, у богатея одного, Кравчины.

– Кравчины? – Дикун нахмурился. – Знаю такого бирюка...

– Истино – бирюк, – согласился Леонтий. – За него меня и послали на персов. А вот жена у него – душевная баба.

– Анна... – тихо сказал Дикун.

– Знаешь, значит, его бабу? – спросил Малов.

– Знаю. Наша она, Васюринская, – отрывисто ответил Дикун. С этого разговора и завязалась крепкая дружба между Леонтием и Федором Дикунем.

Однажды на отдыхе, когда Леонтий уже совсем поправился, присели они с Федором у опушки леса на старое, сваленное ветром дерево.

Тоскливо скрипели над головой обнаженные ветки и так же тоскливо было на душе у Леонтия. Он сидел молча, говорить не хотелось. А Федор все порывался спросить о чем-то. Наконец не выдержал:

– Ты, Леонтий, крепостной был?

– А ты чего так любопытствуешь?

– Да так, интересно узнать про жизнь вашу крепостную.

– Вон что! Не много радости.

Он вытащил люльку, которую стал курить на Кубани, набил самосадом, долго высекал огонь, глубоко затянулся: Федор не унимался:

– Слушай, Леонтий, а верно, что был когда-то в ваших краях удалой молодец по прозвищу Пугач и что поднял он казаков и крестьян против своих панов? – И словно боясь, что Леонтий скажет «нет», Федор поспешно добавил: – Я парнишкой тогда был и то помню, как подавались к нему наши казаки с Украины. Емельяном, сказывают, Пугача звали, а сам он будто донской казак.

Леонтий носком юфтового сапога разрыл слежавшиеся прошлогодние листья, мельком взглянул на хмурое небо к промолчал.

Но Дикун не унимался.

– Расскажи, Леонтий, что знаешь, про Пугача.

Над лесом с криком пролетела воронья стая.

– Пададь почуяли, – будто не слыша, о чем говорит Федор, сказал Малов.

– Что ж, слышал ты про Пугача? Говорят, за народ он был?

– Зарядил все Пугач да Пугач, – недовольно возразил Леонтий. – Кому Пугач был, а кому царь Петр Федорович...

Лицо Леонтия стало жестким.

– Пугачом для помещиков он был да для тех, кто с нашего бедняка шкуру драл, а нам, таким как я да ты, – царь! Наш, мужицкий царь... Понятно? – И глубоко вздохнув, задумчиво, будто вспоминая, начал: – А видеть я его, и впрямь, самолично видел, вот как тебя. Летом это было, засуха захватила нашу деревню. Ни одного дождя не перепало, все высохло, выгорело на корню. Мор начался. Сначала детишки малые, затем старики помирать стали... Помню, как сейчас, – пошли мы миром к помещику, отцу нынешнего барина, так и так, мол, просим, на колени стали... А он выслушал нас, да и говорит: «Это вас Бог за грехи ваши наказывает, и я против Бога не пойду» Это он, значит, намекал на тот случай, что кто-то ему осенью конюшню подпалил. Полдня простояли мы на коленях, а к вечеру велел он нам выдать мякины по десять

горстей на душу. Обида нас взяла – горе такое, а он насмехается. Добро б у самого хлеба не было, а то знали, что четыре амбара пшеницей засыпано. В ту пору как раз пошел слухок, что объявился царь Петр Федорович и идет он престол свой законный отбирать у неверной жены своей Катерины. И тот царь Петр народ везде поднимает и помещиков карает. Верили мы тем слухам и не верили... Только однажды через месяц видим, забежали в имении, засуетились, подводы грузят, карету подают. Шепнул мне один дворовый: «Пугач, дескать, рядом объявился». Эге, думаю, верно, то не Пугач, а сам царь наш батюшка Петр Федорович. А Пугачом его помещики называли, потому, значит, что крут был он с их братом. Пужал их, как надо.

К вечеру отряд к нам пришел – казаки, крестьяне. Немалый отряд, целая армия... Вот тут и увидели мы государя нашего. Перво-наперво он нас к ответу призвал, как-де смели мы дать убежать барину своему, почему не изловили и к нему на суд не представили... А потом сказал, что свободны мы, и отдает он нам то зерно, кое в амбарах хранится у барина, и все имущество барского имения.

Так-то, Федор! Крут был Петр Федорович, не одного пана на перекладину отправил. А нашему брату, крестьянину, милость оказывал, волю давал, землю. За то мы ему премного обязаны были, поддержку оказывали. Вся Волга за него была, казаки яицкие, донские поддерживали... Да и не только русский люд в его войске был. Иностранцы – башкиры, мордва, чуваша – все тянулись под его руку, за ним шли, и всех миловал, всем свободу давал... Правду он видел и берег ее паче глаза... Не продай его казачья старшина, были бы мы все сейчас люди вольные и никто бы не смел чинить нам обид.

Леонтий выколотил люльку о ствол дерева и, запрятав в глубокий карман, закончил:

– Так-то, Федор, кому был Пугач, а нашему брату царь...

Головатый догнал полки только под Кавказской. Четверка сытых лошадей дружно тащила небольшую, на мягких рессорах, тачанку.

Небо было пасмурным, нудно моросил мелкий дождь. Снег сходил с земли, и грязь мерно чавкала под копытами лошадей.

Войсковой судья устало закрыл глаза. Болела поясница. В Екатеринодаре он задержался, отдавая последние указания Котляревскому. Распорядился по дому – ведь не на неделю покидал хозяйство. А теперь торопился, войско догонял. Ноги уперлись в бочонок с паюсной икрой. Старый судья криво усмехнулся.

«Доволен будет генерал-аншеф, – подумал он о командующем кавказскими войсками Гудовиче, которому предназначалась икра. – Да и Валериан Александрович не обидится. Небось, такого жеребца, как я ему подведу, в конюшнях у него не сыщется».

Серый тонконогий кабардинец – подарок черкесского князя Батира Гирея – на длинном поводку резво бежал за тачанкой.

«Жаль, конечно, отдавать Зубову этакого красавца, но для собственной пользы лучше не поспускаться».

Откровенно говоря, в этот поход Головатый отправился неохотно. Было какое-то смутное беспокойство. А накануне отъезда ни с того ни с сего лопнуло большое венецианское зеркало. Увидев это, Романовна всплеснула руками: «Не к добру!»

Впрочем, даже не в приметах дело.

Просто не верил войсковой судья в военный талант Валериана Зубова, – случалось ему видеть брата всесильного фаворита в Петрограде. Букольки, кружевца – и все. А война – суровое дело, вертопрахов она не терпит...

Да и войско для этого несерьезного дела подбиралось несерьезное. Головатый знал, что станичные атаманы спровадили в персидский поход самую голоту, тех, кто совсем недавно от помещиков утек. Многие из этих людей и пороку не нюхали и саблю в руках не держали... Знал это пан войсковой судья, знал, но атаманам не препятствовал. Умел смотреть вперед. Понимал,

что главную казацкую силу надо на Кубани оставлять, у рубежа. Если турки или черкесы рубеж порушить попытаются – тут любой казак за саблю возьмется, ховаться не будет. Достаток его, хата, семья не позволят ховаться...

А чтоб никто не обвинил его, войскового судью, в том, что он плохое войско по рескрипту государыни выслал, решил Головатый сам команду над казачьими полками принять.

«Вот, мол, глядите! Как царицын приказ старик Головатый выполняет: сам, невзирая на годы свои преклонные, с войском поспешил!»

Войсковой судья пригладил ладонью усы, поправил высокую из черных смушек папаху. И вдруг крикнул от досады. Как он мог забыть наказать, чтобы двух работников, купленных им у малороссийского помещика, направили на хутор?

«Нечего баклуши бить, дарма хлеб есть, – подумал судья, – пусть за скотиной доглядают. Прибуду в Кавказскую, немедля отпишу Тимофею Терентьевичу, пусть передаст мою волю Романовне».

Головатый открыл карие с прищуром глаза, взглянул на широкую спину ездового и, придерживая рукой ножны пашки, встал во весь рост.

– А ну вжарь, Данило, – приказал он казаку. Тот приподнялся, гикнул, и кони сорвались с рыси в намет, только грязь от колес полетела.

– Добре, добре, Данило! Люблю так, с ветерком! – крикнул Головатый, глотая свежий ветер.

Поравнявшись с обозом, кони сбавили бег, перешли на рысь. Держась обочины, быстро обогнали груженные фуры, поравнялись с растянувшимися сотнями.

Люди шли усталые, вымученные бессонными ночами.

– Здорово, уманцы! Васюринцы, кореновцы, здорово! Здорово, незамаевцы! – миную сотни, весело кричал войсковой судья. – Что, приморились? Веселей! Вон уже Кавказская, а там кулеш, баня!

– А по чарочке поднесут? – выкрикнул задорный голос.

– Будет и по чарочке! Жалую добрых молодцев!

Вдали темнел вал Кавказской крепости. Почуяв отдых, и люди, и кони пошли быстрее. Где-то в передних рядах с присвистом запели старую украинскую песню...

Глава IX

Есть в России много городов, и каждый из них чем-то знаменит. Тула – ружьями и самоварами. Нижний – купцами, а вот Астрахань – город рыбный. За версту от города рыбный дух с ног валит. И нигде от него не спрячешься, ни в хоромах каменных, ни в избах рубленых.

Раскинулся город на низменном берегу, у самой Волги. Крепость с широкими каменными стенами, со множеством дозорных островерхих башен. В крепости постройки все кирпичные: собор с позолоченными куполами, дом коменданта службы... Широкий ров опоясывает стены. Рядом, за меньшей стеной – белый монастырь с просторным, выложенным булыжником, двором. Тут же дворец митрополита.

К крепости тянутся кривые посадские улицы. Купеческие дома, особняки рыбозаводчиков и иной городской знати огорожены высокими заборами.

Несколько улиц выходят на площадь. На ней – базар, гостиный ряд, два кабака с облезлыми надписями над дубовыми дверьми.

Чем дальше уходят улицы от центральной площади и крепости, тем ниже заборы, меньше дома. И вот, уже без всяких улиц, множество хибар разного пришлого люда ласточкиными гнездами лепятся у яра и по берегу Волги.

Как только начинается путина, этот люд в поисках работы устремляется на пристань. Приходят сюда за сотни верст и отпущенные на оброк крестьяне. Эти разбросают на песке

армяки, рассаживаются артелями и ждут подрядчиков. В кабак они не ходят. На каждую артель нанимают стряпуху, либо с собой приводят. Тут, на песчаном берегу, и спят – благо, дожди в Астрахани редки.

А рядом, в больших чанах, тут же на берегу, рыбозаводчики рыбу засаливают и выветривают на длинных деревянных вешалах. В воздухе – смрад от гниющих рыбьих внутренностей. Душно до головокружения. Гул стоит многоязычий.

В ту пору, как добрались черноморцы до Астрахани, сезон только начинался. Казаков разместили в длинных сараях за городом, а полковникам Великому и Чернышеву квартиры отыскивали комнаты в посаде, у астраханского рыбозаводчика Сумина. Дом Сумина стоял недалеко от базарной площади, фасадом к Волге.

Как-то, отобедав, полковники прогуливались по городу. Продолжая начатый за столом разговор, Великий, повернув лицо к Чернышеву, возмущенно спросил:

– Ну, так скажи, какого черта мы тут стоим?

– Ты бы у Гудовича спросил. Либо у Антона, им видней.

– Придет время – и спрошу! У меня в полку недобрый шепоток идет...

– Шептунам глотку заткни, нечего с ними церемониться, – сквозь зубы процедил Чернышев. – Наше дело полковничье: приказано стоять – и стой. А скажут выступать – и двинемся. А что там казаки языки чешут, плюнь на это.

Площадь кипела от людей, пришедших на торг. Белоснежные чалмы и цветные халаты бухарцев и хивинцев, яркие одежды персидских купцов, суконные солдатские мундиры, свитки казаков пестрели на ярком весеннем солнце.

В оружейном ряду краснобородый хозяин-перс потянул Великого за кунтуш:

– Эгей, пан-казак, ходи мой лавка, покупай хоросанький клинок, – купец льстиво улыбался. – В бою сабля друг будет!

– В каком бою? – насторожился Великий.

– Э, в каком? Все знают – в нашу землю казак ходить хочет, – усмехнулся купец, но в глазах его была злость. – Покупай – дешево отдам.

– Кто это, купец, тебе наболтал, что мы в ваши земли идти собираемся? – с деланной беспечностью спросил Чернышев. – Болтают черт его знает что.

– Зачем – болтают?! – уже серьезно сказал купец. – Правду говорят. Только знаешь, казак, как наш народ говорит: чтобы меч сразил врага, надо бить сразу. Плохо, когда молва обгоняет воинов.

– Что-то непонятно мне! – поморщился Великий. – Сам ты вроде кызылбашец, а говоришь нам такое...

Чернышев подхватил Великого под руку и потащил из толпы.

– Плохо дело, если весь базар знает, куда мы идти хотим, – вздохнул Чернышев, когда они подошли к дому Сумина.

– Плохо! – согласился Великий.

Поднявшись на высокое каменное крыльцо, полковники прошли к себе.

– Ты вот слушай, что я надумал, – снимая кунтуш, проговорил Чернышев. – Когда ходили мы к Ставропольской крепости, узнал я, что в тех краях мериносовые овцы большую выгоду дают... Так вот – вернемся на Кубань, думаю попробовать это дело. Ударю челом, землю прирежут, хутор выстрою. – Он подошел к окну, встал рядом с Великим, забарабанил по сосновому переплету рамы.

Из окна видно Волгу. Левый пологий берег ее порос лесом. Река вскрылась недавно. Широкая, полноводная, несла она свои воды в море. Изредка одинокими лебедями тянулись отставшие льдины, подходили к берегу, вертелись на месте и, оттолкнувшись, плыли дальше.

– Дурной поход получается! – вздохнул Великий. – Как бабы, на одном месте без толку топчемся... И войско – не войско, а голь перекатная.

Чернышев – смуглолицый, грузный, седеющий красавец, усмехнулся:

– Наше дело – приказы выполнять... – Он огляделся по сторонам и продолжал: – А я тебе скажу одно: верю я старому Антону! Верю! Уж он все так зрывает, что и сам в убытке не будет, и нас не введет... А голодбу нашу, думаю, нарочно в поход заслали – ее-то кровь дешевая, не купленная...

– Русские ведь, христьяне.

Чернышев молчал, смотрел в окно, на Волгу.

– А Волга, Иван, мне Днепр напоминает... Эх, Днепро, Днепро...

Великий улыбнулся.

– О Днепре тоскуешь... Забыть пора! Наша Кубань не хуже.

Кто-то заскребся в дверь, осторожно открыл ее, и в комнату заглянула лысая голова хозяйина.

– Я не помешаю господам офицерам? – повел он раскосыми глазами.

– Заходи, заходи, Назар Назарович.

Просунув боком в дверь свое раздавшееся в ширину тело, Сумин осторожно, колобком, вкатился в комнату, присел на заскрипевший стул. В комнате сразу запахло рыбой.

– Фу, уморился! – купец вытер грязным платком мясистый нос. – Весь день в бегах. Вот-вот рыбка. – Он потер руки. – То снастишки, то люд, а на все время надо, деньги.

– Ну, у вас за народом остановки не будет, – успокоил хозяина Чернышев. – Вон в слободах сколько всякого сброда проживает. Это не то, что у нас на Кубани – каждая пара рук в копейку входит. А к вам, не изволь беспокоиться, сами придут.

Чернышев глянул в сторону пристани, где копошился работный мир.

Рыбник осклабил:

– Это когда как!

– А как же вы с этим делом управляетесь?

– Я? – глаза рыбака заюлили. – У меня на этот счет свои правила. Говорят, на бога надейся, да сам не плошай. Вот и я на подрядчиков надеюсь, а сам не зеваю. К примеру сказать, подошло время, иные сидят за четырьмя стенами да подрядчиков шлют: «Иди, дескать, нанимай». А я – нет, помилуй бог, я сам выхожу на пристань, прогуляюсь по бережку, присмотрюсь. Вижу, где артель из народишка покрепче собралась, да из дальних, не наша голытьба. У меня на них глаз набит. Так вот, подхожу – и дело сделано. Работают, как миленькие, а чуть что, не угодно, катись на все четыре стороны, а деньги, как в договоре указано, по истечении путины... Срок придет, подрядчики все учтут: и за снасти, и за харчишки, и за то вино, какое в первый день выпьют...

Великий слушал внимательно:

– Да! Зато они к вам на другой год носа не сунут.

– Ничего! Не эти – другие явятся... На наш век хватит...

– Басурман!

Ожившая от зимних холодов муха метнулась от окна, зажужжала. Сумин быстрым движением прихлопнул ее.

– Ишь, тварь... – Спросил: – Не будет ли у господ офицеров продажной продукции – соли либо вина? В нашем деле этот провиант первейшей необходимости.

Великий и Чернышев переглянулись, как по команде. У обоих одна мысль: «Наедине о сем говорят». Ответил Чернышев:

– Ты ж понятие должен иметь, что люди мы – государевы. И провиант у нас государынин, для войска ее предназначенный... Так что... – развел он руками.

– Ну, на нет и суда нет, господа атаманы! – поднялся со стула хозяин. – Желаю здравствовать! – Сумин поклонился и выкатился из комнаты.

А на другой день оба полковника в разное время побывали на половине хозяина и продали ему из полковых запасов триста пудов соли. А Чернышев к тому же сбыл по сходной цене двадцать ведер вина...

С любопытством следили казаки за городской жизнью. Потревоженным муравейником чуть ли не круглые сутки копошился люд на пристани. У причалов покачивались баркасы, рыболовные суденышки, лодки. Волгу бороздили парусники. Рыбацкие артели готовились к путине.

И вдруг казакам объявили приказ: поочередно выходить на погрузку. Чертыхаясь, они грузили на суда соль, муку, рыбацкий припас.

Вечерами у артельных костров, не таясь, ругали на чем свет стоит всех панов-старшин. Кричали, что в поход отправили одну бедноту, что уже месяц стоят в Астрахани, когда это время могли бы быть дома. Крыли на чем свет стоит купцов и рыбников, чьи баржи приходилось грузить.

Знали казаки, что работают они не для войска. Кто-то рассказал, что контр-адмирал Федоров попросил Головатого оказать услугу, помочь в погрузке купеческих кораблей. Не посмел отказать войсковой судья. Понимали все, что урвал Федоров на этом деле немалый куш.

С каждым днем возмущение нарастало. Люди Сумина шепнули кому-то из черноморцев, что продали их полковники часть войсковых запасов. Заговорили казаки об этом в открытую: «Для какой надобности привели нас сюда? Чтоб рыбники ярмо на нас одели? Чтоб полковники на нашем харче наживались?».

Как-то ночью, когда полковник Чернышев решил наведаться к сараям, в которых жили казаки, в него из темноты полетели камни. А когда он, завернув коня, помчался обратно в город, вслед ему понесся залиvistый свист. С той ночи в темную пору полковники не появлялись в казачьем лагере.

Чернышев благоразумно умолчал о неприятном происшествии. Но Антон Андреевич Головатый был осведомлен обо всем. Чуть ли не каждый вечер на поповском подворье, где жил войсковой судья, появлялись бесшумные соглядатаи. Они нашептывали Головатому о том, какие речи ведутся у казачьих костров, что делают полковники, кто из сотников сколько горилки пьет и к каким молодкам ходит. Антон Андреевич слушал, опустив глаза, и задумчиво кивал крепкой, круглой головой...

А как-то поздним вечером, когда казаки, сидя у небольших костров, хлебали из котлов жиденький пшениный кулеш, кто-то невидимый в темноте проговорил:

– Хлеб да соль, казаки!

– Сидай с нами вечерять, – гостеприимно пригласил Собакарь.

Дикун достал из-за голенища запасную деревянную ложку. Половой и Шмалько подвинулись, освобождая место пришлому человеку.

Дюжий, грузный человек уселся на землю у костра, перекрестился, дождался очереди и зачерпнул ложку кулеша, подхватывая капли кусочком хлеба. Собакарь взглянул в седоусое круглое лицо человека и от удивления вылил кулеш себе на шаровары.

– Пан войсковой судья?! – изумленно выкликнул он.

– Лей, лей, хорунжий! – усмехнулся Головатый. – От такого кулеша пятен на шароварах не будет...

Теперь уже все сидящие у костра остолбенело смотрели на нежданного гостя. А тот окинул их спокойным взглядом, усмехнулся в сивые усы и проговорил:

– Что ж про кулеш забыли, хлопцы? Эдак и сами голодными останетесь, и меня, гостя своего, не накормите... Не стану же я не в свой черед хлебать...

Деревянные ложки снова застучали о котел. Весть о том, что сам пан войсковой судья ест кулеш вместе с казаками, облетела лагерь. Со всех сторон к костру Собакаря сошлись чер-

номорцы. Они тесным кольцом окружили костер. Сотни глаз сверлили Головатого, но он спокойно, словно не замечая, продолжал есть.

– Да, кулеш у вас не больно гарный! – наконец проговорил Головатый, откладывая ложку. – Прямо скажу – дрянной кулеш, одна пшенинка другую погоняет, а салом и не пахнет...

Казаки зашумели. Чей-то визгливый голос выкрикнул:

– Харч наш господа полковники, матери их черт, купчишкам продали...

– Все к себе гребут, – подхватил хриплый бас. И будто ураган разразился над лагерем.

А Головатый невозмутимо слушал гневные, яростные крики. Неторопливо, спокойно вытащил из кармана засаленный кисет, протянул его сидящему рядом Дикуну, голой рукой достал из костра уголек и старательно раскурил люльку.

Когда крики стали смолкать, Головатый заговорил, чуть повысив старческий басок:

– Добре, сынки! Разберусь с вашими обидами. А пока суд да дело, обещаю вам – завтра же будет у вас настоящий, густой кулеш с салом. И рыба будет... И баньки накажу во всем городе для вас истопить...

В своей старенькой свитке, в штопанных шароварах походил пан войсковой судья на простого старого казака, на деда, который беседует со своими сынами и внуками. Он старчески покашливал, сплевывал в костер и одобрительно кивал головой.

– А с походом как, батька Головатый? – спросил кто-то из старых казаков.

– С походом? – Антон Андреевич сунул в карман шаровар пустой кисет. – С походом, хлопцы, не во мне дело. Сами знаете, – здесь не Сечь Запорожская, здесь шапками дело не решить... Но скажу я вам, братья-казаки, хоть и не вправе я это говорить, – недолго ждать осталось... Днями отплывем. А там, в Персии, для смелых – добрый дуван будет: и шелка, и камни-самоцветы, и туманы золотые...

Головатый неторопливо, с кряхтением поднялся на ноги и обвел столпившихся кругом казаков быстрым взглядом.

– Ну, на покой пора, хлопцы... Пора дать отдых моим старым костям.

– Ур-ра батьке Головатому! – крикнул чей-то восторженный голос. – Ура нашему заступнику!

– Ур-ра! – пронеслось по толпе.

Дюжие руки подхватили войскового судью, подняли вверх и понесли к стоящей в стороне тачанке. Казаки долго смотрели вслед,

– Вот это человек! И не подумаешь, что пан! – восхищенно говорил Шмалько. – Сразу видно – свой брат-казак...

– А вот ты бы у него на хуторе поробыл, как я, так узнал, какой он, – сердито проворчал Собакарь.

– А какой?

– Да такой, как все паны. Только поумнее других...

На следующий день, к обеду в казачий лагерь подвезли сало, муку, крупу, свежую рыбу. На двух телегах – четыре бочки с горилкой.

– Пан войсковой судья казачеству шлет! – громко объявил разбитной, голосистый есаул.

В лагере на все лады славили батьку Головатого. И даже хорунжий Собакарь не возражал против этих восхвалений.

А дело было так. Ранним утром Антон Андреевич вызвал к себе Великого и Чернышева. Те, догадавшись, зачем их требует войсковой судья, пришли вместе, вместе и предстали перед Головатым.

Антон Андреевич встретил их туча тучей.

– Правду говорят? – он сдвинул лохматые брови.

– Ты о чем разговор ведешь, Антон Андреевич? – непонимающе смотрел на него Великий.

– А о том...

Головатый грузно поднялся из-за стола и зло откинул ногой табуретку.

– А о том, что говорят. Вы соль да вино продали?

– Навет!

– По злобе кто-то наговаривает! – в один голос принялись оправдываться полковники.

– Брешете, сучьи дети! – взорвался Головатый и грохнул дюжим кулаком по столу. – Лучше признавайтесь, а то я это дело все раскопаю!

– Грешны, Антон Андреевич! – струсил Чернышев.

– Да и греха-то, Антон Андреевич, самая малость, – начал Великий, прямо глядя в глаза Головатому. – Продали на копейку, а брешут на алтын. Собачий народ пошел. Вон даже и про твою милость...

– Что? – хмуро оборвал Головатый.

– Да вон, говорят, что ты подарки принял от купцов за то, что казаки баржи грузили...

Седые усы войскового судьи обвисли. Другим, ворчливо-добродушным тоном заговорил:

– Дурни вы! В любом деле надо край знать. Нынче ж отправьте казакам крупы, сала, рыбы. А то доведем их до бунта. С этим делом нельзя шутить.

– Исполним, Антон Андреевич! – покорным голосом проговорил Великий.

– Сделаем! – подтвердил Чернышев.

– Добре! – уже милостиво кивнул головой Антон Андреевич. – И чтобы больше такое не повторялось. Было не было, а чтоб до меня такие слухи не доходили. Не посмотрю, что вы полковники и перед войском заслуги имеете. Разжалую. – И уже спокойно: – В полках чаще надо бывать да за людьми следить, с вас спросится...

Полковники вышли. Уже за дверью они снова переглянулись.

– Отделались, – вытер пот Чернышев.

– А хитер пан войсковой судья! Ой, хитер! – восхищенно проговорил Великий. – Вот у кого учиться, как дела делать!

Только-только начинает голубеть густая синевя ночи, еще горит над самой землей утренняя звезда, уж просыпается астраханский люд.

Первыми, как всегда, поднялись артельныестряпухи. Подоткнув подола длинных, со множеством оборок юбок, они развели огонь под таганами, наносили воды и принялись варить суп.

За ними пробудились и мужики. Стараясь не промочить лаптей, они степенно умылись в Волге, помолились, поартельно уселись вокруг общих котлов и вслед за старостами поочередно заработали деревянными ложками. Ели без слов, посапывая, звучно втягивая горячее варево.

А город же выбрасывал на пристань толпы голытьбы. Берег ожил. Прошли строем казаки на разгрузку баржи. Под ногами похрустывал песок. Чей-то озорной голос вслед им выкрикнул обидное:

– Эй вы, хохлы! Купецкая служба!

– А что, чай, купчам от них прибыльно, – поддержал его артельный мужичок. – Дармовые работнички, не то, что мы...

Казаки зло огрызались. Самые горячие, сжимая кулаки, выскакивали из рядов. Но дело кончалось только перебранкой.

Один за другим поднялись мужики, сложили в кучу, под надзорстряпух свои котомки и двинулись на работу.

К одной запоздавшей к завтраку артели прибежал запыхавшийся подрядчик. Брызгая слюной, стал ругать мужиков. Надоев, те вскочили и заторопились к лубяному лабазу.

По всему берегу застучали топоры, закипела смола в чанах – конопатили лодки, баркасы. От купеческой баржи к берегу, по сходням взад-вперед, сгибаясь под тяжестью мешков с солью, сновали казаки. На берегу, у штабеля, вел учет мешкам бородатый купец. Иногда он предупреждающе покрикивал.

– Сторожко, сторожко, борони бог расыпца!

И так до обеда...

Каждый раз бывая на пристани, Малов приглядывался к мужикам. «Авось увижу кого из своих...»

В этот день, дождавшись обеденного часа, они с Дикуном отправились побродить по берегу.

Вокруг стоял неумолкаемый шум. Бойкие астраханские торговки кричат на все лады:

– Кому щей! Жирных щей! Отведай, кто потощей!

От грязного чугуна поднимается густой пар, пахнувший пареной капустой. Голытьба хлебает щи тут же, усевшись на песке.

– А вот сбитень! Горячий сбитень! – звенел над пристанью высокий бабий голос. – Сбитень сладкий, кто на него падкий!

– Пирожки с требухой! Пирожка – на грош два!

Пирожки были большие, как лапти, и тощие, как та баба, которая их продавала. Требуха отчаянно воняла, несмотря на попытки торговки сдобрить ее чесноком.

Леонтий с Федором, морщась, съели по одному пирожку.

За лабазом они остановились около старика гусяря. Был он худой и согнутый, в белой холщовой рубахе и таких же портках. Сквозь рубаху выпирали ключицы. Ветерок шевелил мягкий, тонкий пушок на его лысой голове. Воспаленные глаза слезились. Узловатыми пальцами перебирал он струны гуслей и пел с мягкой задумчивостью:

Как у нас, братцы, было на Дону,
Во Черкасском городу,
Народился молодец —
Стенька Разин удалец.
Ой, ходил, гулял Степанушка
Во царев кабак.
Думы думал атаманушка
С голытьбою:
«Ой вы, ребятушки, вы, братцы,
Голь несчастная!
Вы поедemте, ребята,
Во сине море гулять,
Корабли-бусы с товарами
На море разбивать.
А купцов да богатеев
В синем море потоплять».

Вокруг старика толпились люди. В его облезлую деревянную миску со звоном летели медные деньги.

Леонтий покосился на Федора:

– Хорошо поет дед.

От пристани к толпе торопливо шагали городские стражники. Старый гусярь заметил их и вдруг, с размаху ударив по струнам, запел:

Ой, боярыня ты, Маюковна,
У тебя-то плетъ не бархатна.
У меня ль да сердце шелковое,
Инда зуб о зуб пощелкивает...

Молодой мужик в стоптанных лаптях и грязной, рваной рубахе вдруг швырнул шапку на землю, выпятил широкую грудь и, закинув голову, прошелся по кругу. И была в нем такая буйная, молодецкая стать, что все залюбовались им...

Глава X

На закате море отливало свинцом. От берега шли крупные волны, ударялись о борт, перекатывались через палубу фрегата, разлетались брызгами, поднимались к небу.

При каждом ударе фрегат вздрагивал и кренился. Морской переход вконец вымотал казаков. Многие из них покато лежали на палубе, другие еле держались на ногах. Казак на корме кричал:

– Высаживай на берег, сушей пойдем!

Федор Дикун стоял на носу фрегата, вглядываясь в недалекий берег. Он выглядел диким, угрюмым. Черные, скалистые обрывы, до блеска вылизанные морскими волнами. Дальше, за обрывами, вздымались рыжие, голые горы.

Все казалось чужим, неприветливым, не похожим на щедрые кубанские края.

Федору вспомнилась родная Васюринская, которая отсюда казалась самым лучшим, самым радостным уголком на всей земле...

...Вот кубанская круча, а по ней змейкой вьется тропинка. Сверху, по тропинке, спускается стройная дивчина.

Нет! Никогда больше не пойти Анне по Васюринской круче к нему, к Федору. Никогда. Было это, было, да быльем поросло!

Малов присел рядом с Дикунем на скрученном канате.

– Да, парень! – проговорил он, вглядываясь в хмурое лицо Федора. – Раньше я думал, что у вашего брата-казака не жизнь, а масленица...

– Кому масляна да сплошная, а нам вербная да страстная, – невесело отшутился Федор.

– Чего скучный такой, казак?

– А с чего мне веселым быть, друг Леонтий? Не с чего нам с тобой веселиться. Это атаманам веселье. А нам горе-горькое до могилы на шее носить, как гайтан.

Косые лучи заходящего за дальними горами солнца скользнули по сырой палубе, сорвались в воду и потонули в белесом гребне волны.

– А жить все едино хочется! Хоть и горькая она, наша жизнь, – вздохнул Леонтий.

Неслышно подошел Собакарь.

– Вон башня, бачите? – указал он на еле заметные в горах очертания каких-то развалин. – Вот такие же и наши черкесы строят. Говорят, если пойти берегом на запад – прямо к Кубани выйдешь...

Все трое принялись разглядывать уходящий назад берег. В этих местах над обрывом темнели на солнце густые заросли зеленых кустов. Ветер доносил оттуда сладкий запах цветущих деревьев.

– Весна, – задумчиво проговорил Собакарь.

– Весна.

– А у нас рожь сейчас уже во какая. – Малов показал ладонью с пол-аршина от палубы. – Только, бывало, снег с земли, а управляющий уже гонит всех в поле. Походишь за сохой день,

намаешься. К ночи упадешь на землю, а она, родимая, парует, теплом отдает, да так пахнет, аж голова кругом идет... И забываешь, что и земля эта не твоя и что работал ты на барина.

– По-людски не доводится пожить, – грустно проговорил Собакарь.

– Что правда, то правда! Сами не ведаем – для чего живем. Ты вот, Никита, сам сказывал – всю жизнь в войске прослужил, с турками бился, Березень брал, с самим Суворовым Измаил-крепость штурмовал, до полкового хорунжего дослужился. А что у тебя есть? Хозяйство вшивое, да и то без хозяина. Хуже, чем у кобеля бездомного. Того хоть на привязи не держат, да кормят... И мне такая судьбина заказана, коли не срубает меня какой кызылбашец, – сказал Дикун.

Собакарь, словно от зубной боли, замотал головой. Ему припомнилась завалюха-хата, голопузые ребята, укутанные в бог весть какую дрянь...

– Ты мне, Федор, душу не мути, мне и без того тошно, – выкрикнул хорунжий. – Была б у меня сила...

Ветер крепчал, свистел в снастях, хлопал парусами. Фрегат качало все сильнее.

Леонтий сказал вполголоса:

– Сила есть, да храбрости мало. Мнится мне, что казаки только на язык острые, а на деле...

– То еще бабушка надвое сказала, – возразил Дикун.

– Может, и твоя правда. У нас в деревне вот тоже, пока не пришел Петр Федорович, только по-за углами шептались, да и то страшились, чтоб барин либо управляющий не прослышали. А опосля кой-кто и за топор взялся...

– А ты?

Леонтий не ответил.

Он потянулся, глянул на сумерки, окутывающие берег, и проговорил:

– Спать пора, казаки! Пошли в трюм!

Густой храп висел в крошечной темени трюма, едко пахло потом, кто-то говорил во сне. Разбросав свитку, Леонтий улегся у трапа на грязный пол. Ему не спалось, он долго ворочался с боку на бок, старался забыться. Как всегда, в ночной тишине ему вспоминалась дочь, ее лицо, перекошенное смертной мукой...

Кто знает, сколько пролежал он – час ли, два. Ему стало душно. Накинув на плечи свитку, Малов поднялся на палубу и жадно глотнул свежий, солоноватый воздух. Ветер перестал дуть, и море, словно отдыхая от бешеной пляски, было неподвижным. Огромный, чистый, расписанный звездами полог раскинулся над головой. Вдали на судах горели сигнальные огни.

Леонтий склонился на борт и долго слушал мягкие всплески воды. Море вело рассказ о душевном, тайном...

И Малов вдруг вспомнил о том, кто тоже плавал к персидским берегам, – о Степане Тимофеевиче Разине.

Вот так же и он, наверное, стоял и слушал шепот моря.

«Вот бы быть с ним, с удалым заступником народным, со Степаном Тимофеевичем! – подумал Леонтий. – Повернуть бы все корабли, всю буйную казачью силу, да и ударить – на Астрахань, на Царицын... И дальше пойти... Чтоб не плакали больше от горькой обиды мужицкие дочери, не плакали бы и не лезли с горя в петлю. Чтоб и семени проклятого барского на берегах Волги не осталось! – Леонтию стало жарко от этих мыслей. – А что, ежели попробовать? Только б начать...»

Тут, на палубе, и застал Малова рассвет. Один за другим на свежий воздух из трюмов выходили заспанные казаки. Дождавшись Федора, Леонтий отвел его в сторону.

– Слушай, Федор! А что, ежели захватить сейчас фрегат и податься на Астрахань да Царицын, люд поднять городской – и вверх по Волге? То веселее было бы, чем на кызылбашцев идти...

Дикун бросил хмурый взгляд на Леонтия и вздохнул.

– Ничего с этого не получится!

– Почему?

– Не выйдет! Не пойдут казаки на такое дело. Если и возьмемся мы за пищали и сабли, так на Кубани. Мы на старшин дуже злые, вот на старшин и поднимемся. А на Волгу нам не с руки. Не одолеть нам всех панов...

– Одним казакам не одолеть, – согласился Леонтий. – А с нашим братом... Петр Федорович царь был и то нас, крестьян, в свое войско звал. А Разин? Вот и нам мужиков поднять.

– Нет! – Дикун покачал головой. – Пугач и Разин ничего сделать с панами не могли, а ты о таком помышляешь...

А на кораблях, как искра в сухой мякине, тлело тайное недовольство. Началось оно еще с Астрахани. И причин к нему было хоть отбавляй. Когда в начале мая к астраханской пристани подошел флагманский фрегат «Царицын» с транспортными судами и черноморцы начали погрузку, один из казаков сорвался с трапа в Волгу. Плавать он, видать, не мог и камнем пошел на дно.

– Не миновать беды! – шептались бывалые астраханцы. – Мало кто домой из этого похода вернется, многих мертвяк за собой потянет...

И правда, дня не проходило, чтобы кто-либо из казаков не погружался навеки в морскую пучину. От лихорадки умерло четверо. Еще один в море упал. От живота человек десять померло.

«Все помрем, коли назад не воротимся! Офицерам да старшинам – горя мало, они винище лакают. А нам гнилую воду дают, от нее и лихорадка, и другие напасти!»

«Назад надо поворачивать!» – шептались казаки.

Дошли слухи об этих разговорах до контр-адмирала Федорова. Встревожился он и позвал к себе Головатого. Тот явился немедленно. Вошел в адмиральскую каюту чуть сутулясь, большой, грузный, с отвисшими усами, и уселся в обтянутое красным плюшем кресло.

– Антон Андреевич, ведомо ли вам настроение казаков? Большое беспокойство оно у меня вызывает.

Головатый спрятал улыбку в пушистых усах.

– Моим казакам, господин адмирал, ваш морской климат не по здоровью пришелся. От этого они и в разговор пускаются. Погодите, сойдем на берег, куда все денется.

Федоров поджал тонкие губы, покачал головой.

– В хорошем войске первое дело – послушание.

– Казаки не монахи-послушники, – насмешливо возразил войсковой судья. – Матушка-царица знает, что за войско – черноморские казаки. Так что не вам, господин адмирал, их позорить.

На бледном лице контр-адмирала проступили багровые пятна. Сдержав гнев, он пожал плечами.

– Смотрите сами! Мое дело упредить. Вы хоть и числитесь под моим началом, но сами немалый опыт имеете и указывать вам я не берусь.

– Добре, добре! – миролюбиво согласился Головатый. – Не извольте беспокоиться. На берегу я смутьянов велю киями поколотить. А за упреждение покорно благодарствую.

– Я бы, Антон Андреевич, может, и не обратил бы вашего внимания, да смутьяны стали сеять семя недовольства в матросских кубриках, – тихо, почти шепотом заговорил адмирал. – Боцман донес, вчера он слышал, один хорунжий, как его... – Федоров взглянул в тетрадь. – Ага! Со-ба-карь! Так вот этот Собакарь говорил, что ваши старшины и наши флотские офицеры над людьми измываются...

– Ах он, бисов сын, – вскипел Головатый. – Да я собственноручно на нем кий обломаю! Но рубака он добрый, я его знаю...

На бледном лице Федорова мелькнула презрительная улыбка.

«И этот человек в близком знакомстве с государыней. Бог мой! – подумал он. – А говорят о его высокой культуре. Да он мужик, истинный сиволапый мужик!»

– Это ваше дело, Антон Андреевич, – заговорил адмирал. – Ваши казаки, вам их лучше знать. И Собакарь ваш офицер. Это у вас же говорят: «Что ни зван, то и пан».

Головатый нахмурился. Он понял, что адмирал намекает и на его происхождение.

«Ах ты, немочь бледная! – подумал Антон Андреевич. – Ну, ладно, кишка свиная!»

И, словно не сознавая колкости своих слов, проговорил вслух:

– И то, господин адмирал, – всех мамки голыми родят. Только одни матушке-царице служат честью, а другие спесью...

Адмирал все с той же презрительной усмешкой пожал плечами.

Через час в каюте Головатого собрались старшины. В открытый иллюминатор тянуло свежим ветерком. С палубы доносились отрывистые слова команды: матросы меняли паруса. Вечер опускался над морем.

Вошел вестовой казак, зажег свечи. Желто-розовые язычки закачались, и один из них погас. Казак прикрыл иллюминатор и вышел на цыпочках.

– Вы, панове, верно, ведаете, для каких целей я вас собрал! – Головатый исподлобья окинул взглядом сидящих.

Все молчали. Сотники Лихотний и Павленко переглянулись. Есаул Смола кашлянул в кулак.

Головатый обвел всех строгим взглядом.

– А собрал я вас всех, панове, чтоб напомнить вам, что волею Бога и по милости государыни нашей, матушки Екатерины Алексеевны, мы поставлены командовать славным войском Черноморским.

В каюте стояла гробовая тишина. Слышно было, как на палубе отбили склянки и что-то прокричал сигнальный. Чернышев сопел, подперев большими руками подбородок, Великий не сводил с Головатого глаз. Старый есаул Белый, родственник покойного кошевого, мирно дремал, изредка дергая головой, как конь от назойливой мухи.

Фрегат покачивало.

«Не на нас ли с Чернышевым намекает?» – подумал Великий и беспокойно заерзал на своем месте.

А Головатый тем же суховато-повышенным тоном продолжал:

– Дошли до наших ушей слухи, что смутьяны подбивают казаков к неповиновению. И хоть верю я, что не пойдут наши казаки на сие, вам строго-настрого надобно следить за людьми. Особо пока мы в плаваньи. Сами видите, что дорога нелегкая, хоть кого вымотает. Да и безделье, бывает, с ума кое-кого сводит. Так мой наказ таков: поймаете злоумышленника, ведите ко мне, кто бы ни был. Будет вам ведомо, что хорунжий Собакарь за недозволенные речи от должности своей мною отстраняется и звания лишен.

Данила Смола толкнул всхрипнувшего Белого. Тот вздрогнул, открыл глаза и спросонья на всю каюту удивленно спросил:

– А? Это меня?

Старшины фыркнули. Головатый посмотрел серьезно на Белого.

– На слабую дисциплину меж казаками обратил внимание и господин контр-адмирал, – продолжал Головатый. – Я мыслю, панове, что нам с вами не по душе придется, как станет это известно его сиятельству главнокомандующему, а избави боже, матушке-государыне...

«Перетрусил старый Секач! – злорадно подумал Великий. – Не забыть бы отписать Тимофею Терентьевичу, что Антон уже не справляется с дисциплиной в войсках. При случае сгодится».

Головатый поднялся со своего места и прошелся по каюте. Старшины поспешно подобрали ноги.

– И глупец тот, кто полагает дисциплину палкой обеспечить, – снова заговорил он. – Забота и теплота сердечная иной раз лучше кия действует. Сейчас у меня такая думка: морской переход к концу подходит, и, чтоб люди не ослабли, требуется улучшить довольствие и выдавать казакам винную порцию. А вам, панове старшины, советую в каждой сотне уши свои иметь.

Есаул Смола бесцельно слонялся по палубе. Фрегат, подгоняемый попутным ветром, мягко разрезал темно-голубые волны. В подернутом матовой дымкой небе неподвижно застыло солнце, и так же неподвижно вдали, у горизонта, громоздились кудрявые облачка.

Смола долго разглядывал море и белые паруса транспортных судов, дивился сноровке матросов, снующих по реям, и уже собрался было пойти еще куда-нибудь, как вдруг на носу фрегата заметил кучку казаков. Среди них разглядел он тощую фигуру Собакаря.

«Чего ему, вражине, понадобилось собирать вокруг себя казаков? – подумал есаул. – Надо послушать, может, сгодится!»

Крадучись, приблизился он к толпе и, укрывшись за штабелем мешков, прислушался.

Смола и Собакарь оба родом были из Брюховецкого куреня. И в станице хаты их стояли почти рядом. Вместе и в войско определялись. А в Турецкую войну, как брали Измаил, нагрел Данило Смола руки на чужом добре. И хоть есть русская пословица «Чужое добро впрок не идет», но ему оно пошло на пользу. Разбогател, до есаула дошел.

С Собакарем Смола жил в ладах до той поры, пока на Кубань не попали да станицу не начали разбивать. Вот тут и пробежала между ними черная кошка. Как-то на сходе выкрикнул Никита против Данилы слово, что, дескать, хапает он войсковой лес. Рассвирепел Смола и теперь при каждом удобном случае готов был пакостить Никите... Приложив ладонь к уху, Смола старался не пропустить ничего из того, что говорили казаки.

– Да я ему, вражине! – распалился Собакарь. – Не погляжу, что он войсковой судья!

«Ага, вот ты каков, голубь, – злорадно подумал Смола. – Это ты за то, что с хорунжих тебя уволили».

– Та брось ты, Никита, – уговаривал Половой. – Это ж пан судья доброе дело тебе сделал. Он увидел, что тебе в твои годы такой чин тяжело носить, ну и надумал полегчить тебе.

– Плюнь, Никита, – раздался угрюмый голос Малова. Смола видел, как на худом, скуластом лице Собакаря от гнева играли желваки.

– Довольно, натерпелся!.. Хоть душу отведу!

– Охолонь, Никита, ты не один такой...

Собакарь плюхнулся на зарядный ящик. Дрожащей рукой достал люльку и кисет с табаком, закурил.

– Ладно, коли так, – вздохнул он. – Нехай будет по-вашему.

– Вот и добре, – похлопал его по плечу Дикун. – Ты еще свое возьмешь.

«Ишь ты, чего хотите, – подумал Смола. – Ну, постойте ж, вы у меня возьмете...»

Незаметно отойдя в сторону, он поспешил с доносом к Головатому. Войсковой судья выслушал его внимательно, но как-то безразлично. На удивление Смоле, он даже не приказал арестовать виновных, а только приказал:

– А ты, есаул, продолжай и дальше следить...

Глава XI

В погожие солнечные дни море Хвалынское в густой синеве. Кажется – черпай эту яркую синь, бери кисть и крась, что захочешь, в цвет бирюзы. Удивлялись казаки этой неведомой им синеве морской воды, белым росчеркам волн.

Наконец подошли корабли к незнакомому, невиданному берегу. Коршунячим клювом врежется тот берег в морскую синеву. Издали кажется он отлитым из желтого золота, даже глазам больно от жаркого блеска желтых песков.

Но казаки, ходившие на баркасе к берегу за свежей водой, здешние места не хвалили.

– Степь голая, как вытоптанная, – рассказывали они. – А в ней одни колючки растут. И пески, пески кругом...

Вода казакам тоже не понравилась – солоноватая, невкусная. Только и хорошо, что свежая.

Потом корабли обогнули еще один мыс и вошли в просторную бухту. В глубине бухты, стиснутый серым поясом крепостных стен, громоздился по склону горы незнакомый город – тоже невиданный, удивительный. Дома в нем сложены из желтого камня, и крыши у них плоские, глиняные. Узкие улицы щелями извиваются между домов, сбегая к самому морю, где высится громоздкая каменная башня. Синие волны бьются о ее подножие.

Казаки стали готовиться к бою – проверять пищали, острить сабли. Но от берега подошла богато разукрашенная коврами большая лодка.

Два десятка гребцов, прикованных к скамьям, голых и тощих, враз ударяли веслами. С лодки на фрегат «Царицын» поднялся рыхлый чернобородый человек в ярких, расшитых золотом одеждах.

Это был сам хан Сонгул. Хан шурил черные, как перезревшие сливы, глаза и все время кланялся. Кланялась и его пестрая свита. Гости встречали Федоров и Головатый.

Переводчик, старик с улыбающимся лицом и злыми глазами, заговорил громким, гортанным голосом,

– Аллах дал хану силу и разум. Аллах велит хану жить с русскими в дружбе и согласии. Светлейший хан говорит, что русские ему братья.

Сонгул улыбается и отбивает поклоны. Его высокая черная шапка, похожая на папаху, то и дело показывает свой красный шелковый верх.

Федоров приблизился к хану, поблагодарил за дружественный визит. В ответ Сонгул заговорил так быстро, что переводчик замялся, не успевал переводить.

Казаки, с нетерпением ждавшие высадки, сгрудились на палубе. С любопытством рассматривали они гостя.

– Глянь, какой черный!

– Как турок!

– Все едино не крещеная душа...

– У них бог аллах, как у черкесов... Что лопочет он?

– А бис его знает, верно, горилку зовет пить, – объяснил Ефим Половой. – Ты, Осип, не прозевай. Как Антон будет ехать на берег, так и кажи: «Пане судья, как вы горилку едете пить, то дозвоьте и мне поехать, бо до горилки я дюже охочий!» И нам не забудь по шкалику привезти...

В тот же день начали разгрузку судов, продолжавшуюся три дня. На самом берегу выросли штабеля мешков с провиантом и пороховых ящиков. Над ними соорудили казаки навесы.

Вблизи ни деревца, один песок, раскаленный, как сковородка. Негде укрыться от жаркого солнца.

Вначале казаки толпами бродили по городу, удивлялись тонкой каменной резьбе ханского дворца, звону воды в фонтанах, суете шумливого базара. Местные жители встречали русских приветливо: угощали лепешками – чуреком, горьковатым липким сыром – пэндырем, фиолетовыми ягодами инжира, сладким виноградом.

Федор Дикун, Никита Собакарь, Осип Шмалько и Леонтий Малов часами ходили по незнакомому городу, по глухим щелям его улиц, окаймленных высокими каменными стенами. Окна и двери домов выходили во дворы. Туда можно было попасть только через маленькие двери в крепких карагачевых воротах. Из-за стен доносились разговоры. Все проулки обычно заканчивались базаром, к которому со всех сторон сходились узкие улочки.

И в этот день четверо друзей, вдоволь набродившись по улицам, вышли к базарной площади. Еще издали услышали, что там происходит неладное: неслись неистовые гортанные крики, ругань казаков, чей-то визг.

– Пошли быстрее! – заторопил Шмалько. – Шо-то там вроде дракой пахнет.

На базаре действительно назревала драка. Есаул Смола стоял, схватившись одной рукой за саблю, а другой прижимал к себе узкогорлый серебряный кувшин. Рядом с ним, прижавшись к каменному забору, словно загнанные волки, были еще три казака с такими же кувшинами в руках.

К есаулу подступил персидский купец – в чалме, с крашенной в красный цвет бородой. Он указывал на кувшин, бешено сверкал глазами и что-то кричал высоким, визгливым голосом. Позади него толпились купцы, ремесленники, просто базарные завсегдатаи. И все они жестикулировали, кричали.

– Смотрите, хлопцы! Видать, Смола с дружками кувшины у кызылбашца сдували, – проговорил Шмалько.

Раздвигая плечом толпу, к казакам протиснулся черноволосый, загорелый великан с увесистой дубиной в руках.

– Вур! Вур! Бей! – закричала толпа.

Есаул Смола уронил кувшин и с лязгом выхватил из ножен саблю.

Но великан-азербайджанец быстрым ударом дубины выбил у Смола саблю из рук. Потом схватил есаула одной рукой за пояс, легко поднял его и швырнул в стоявших за спиной Смола казаков. Зазвенели упавшие кувшины.

– А ведь побьют наших, братцы! – возбужденно крикнул Шмалько. – Аида на выручку!

– Вур! – визжала толпа.

Не обнажая оружия, расшвыривая людей огромными ручищами, Шмалько устремился вперед. За ним, словно по коридору, шли остальные.

Великан-азербайджанец обернулся и со спокойным любопытством посмотрел на Шмалько. Потом он басом выкрикнул несколько слов и шагнул навстречу Осипу. Казак размахнулся, но азербайджанец смотрел на него весело и приветливо. Осип разжал огромный кулачище и недоуменно огляделся по сторонам.

– Кузнец говорит – давай борьба, – перевел кто-то слова азербайджанца. – Кузнец говорит, кто кого будет земля бросать...

– Бороться! – Шмалько мгновение вглядывался в красивое, тонкое лицо азербайджанца. – А что ж, давай бороться!

Осип рывком сорвал с себя саблю, снял шапку и старую свитку. Все эти вещи он сунул в руки Дикуну. Потом скинул рубаху и предстал перед толпой словно вытесанный из белого камня – широкогрудый, с могучими буграми мускулов.

– Вай, вай! Пах, пах! – раздалась в толпе восхищенные возгласы.

Люди теснились, образуя широкий круг. А кто-то уже притащил ковер и быстро разостлал его прямо на пыльной земле.

Азербайджанец сбросил кожаную куртку. Он был тоньше Шмалько в талии, но выше.

Толпа загудела еще восторженнее.

Вначале оба борца только пробовали силы. Они хватали друг друга за руки, рывками пытались сбить противника с ног. Но и русский, и азербайджанец были опытными, умелыми борцами и ни один из них в этой пробе сил не добился успеха.

Вдруг Шмалько рванулся вперед и по-медвежьему облапил кузнеца. Тому ничего не оставалось, как тоже обхватить противника и противопоставить его силе свою. Шло время, а борцы, не разжимая своих железных объятий, прижавшись друг к другу, топтались на ковре.

– Мамед, ай, Мамед! – подбадривали азербайджанцы кузнеца.

Казачи тоже волновались.

Мышцы борцов вздувались от страшного напряжения, их тела стали блестящими от пота. Но ни один не мог осилить другого.

И вдруг кузнец разжал руки и неуловимо легким, змеиным движением выскользнул из рук Шмалько.

Он отскочил на край ковра и, улыбаясь, что-то проговорил.

– Кузнец Мамед говорит, что ему не побороть русского брата, – обратился ко всем добровольный переводчик. – Он говорит, что гордится встречей с таким богатырем и предлагает на этом закончить борьбу.

Мамед, улыбаясь, положив руку на сердце, подошел к Осипу.

– Чох якши! Яшасун! – закричала толпа. – Яшасук батыр урус! Яшасун демерчи Мамед!

Слухи о происшествии на городском базаре, как видно, дошли до Головатого. Караульные казаки, охранявшие шатер войскового судьи, рассказывали, что у Антона Андреевича побывал какой-то купец-кызылбашец. После его ухода Антон Андреевич вызвал к себе Смолу, выругал на чем свет стоит и так заехал ему кулаком в лицо, что есаул вылетел из шатра и шмякнулся на землю.

На следующий день у городских ворот был выставлен наряд казаков, который никого из русского войска в город не пропускал.

Мрачные и злые бродили казаки по голому песчаному берегу, напрасно пытаясь найти хотя бы клочок тени, прохлады.

– Как у черта в пекле, – роптали казаки.

Головатый велел нарядить Смолу для закупки провианта, а другой отряд с арбами послал в лес за бревнами для навесов.

Медленно тянулись дни, похожие один на другой, как близнецы.

Из привезенных бревен и жердей соорудили казаки для себя несколько навесов. А тем, кому не хватило места под навесами, расположились тут же на песке, под солнцем. Для старшин из корабельных запасов выделили парусины на палатки.

На первой же неделе появились больные. Идет казак по лагерю, здоровый, казалось бы, нет ему износу, вдруг неожиданно пошатнется, сделает шаг, другой – и, как подкошенный упадет. Поднимут казака, отнесут под навес, приспособленный под лазарет, уложат. Вдруг другой уже свалился, третий.

Вскоре под навесом уже не хватало места для больных, пришлось строить другой. Многие из больных умирали.

С каждым днем все сумрачней и сумрачней становились черноморцы. Жаловались на бездействие, на жару. Беспокойство овладело и Головатым. Понимал он, надо менять место для лагеря. Поговорил с Федоровым, но тот сухо ответил:

– Ждите приезда главнокомандующего, он решит, как быть. Это его приказ стоять под Баку.

К одной заботе и другая прилепилась. Прибыл из Екатеринодара гонец с письмом от Котляревского. Пишет войсковой писарь о плохом здоровье кошевого...

«Не вовремя, – думает Головатый, – решил болеть старик. Не доведи, боже, умереть ему в мою отлучку! Еще Котляревского атаманом назначат».

Ночами Головатого томила бессонница. Воспоминания и думы, одна другой тревожнее, не давали ему уснуть. Как-то сразу, словно инеем, подернулись виски, побелели усы. И не хотелось ему верить, что навалилась старость.

«Э, нет! Мы еще с тобой, старость-костомаха, потягаемся, – успокаивал себя Головатый. – Еще не пришло нам время петь панихиду. Уйду на тот свет, но только прежде булаву атаманскую в руках подержу...»

Главные силы русской армии, покорив Дербент и выбив крупный персидский отряд из Шемахи, расположились лагерем, не доходя до Баку, у реки Сумгаита, в зеленой, цветущей долине. Здесь же разбили свои шатры конные азербайджанские воины, поднявшиеся на борьбу со своими угнетателями-персами.

В полотняном солдатском городке жизнь текла размеренно, словно в тыловом гарнизоне. Утром подъем, затем занятия на плацу, учения, караулы и прочие заботы. А вечером по сигналу отбой. Словно и войны никакой не было.

Горячих азербайджанцев такая бездеятельность томила, и их командир, совсем молодой горец, не раз высказывал вслух недовольство.

Чтобы как-то умерить недовольство союзников, Зубов несколько раз направлял их в налеты на передовые персидские отряды.

И сам командующий Зубов, и его ближайшие помощники мечтали о том, что персидский шах Мухамед всем своим войском двинется на русский лагерь. Была разработана подробнейшая диспозиция будущего сражения. Предусматривалось, что, как только персы начнут бой, казачьи полки от Баку ударят им в тыл.

Но персидский шах, за год до начала войны налетом прошедший Грузию и разоривший Тифлис, теперь избегал сражения. Это не на шутку беспокоило русский штаб.

Приходилось задумываться еще потому, что на долгую войну в Петербурге не рассчитывали. Там были уверены в быстром разгроме персидской армии, не предполагали, что Мухамед будет придерживаться такой осторожной тактики.

Штабу Зубова приходилось теперь решать вопрос о продовольствии, думать об охране дорог и размещении солдат, заниматься еще сотнями скучных дел.

На одно только теперь надеялись в штабе, что надоест персидскому шаху эта игра в кошки-мышки и он запросит мира.

Но все это были пока только мечты да надежды. А на самом деле в армии не хватало продовольствия, люди болели и умирали от малярии и желудочно-кишечных заболеваний...

– Эге-гей! Цоб его, цобэ!

Поскрипывают на ходу чумацкие возы, качают волны круторогими головами, медленно переставляя ноги по каменистой земле.

– Цоб их, цобэ!

Воз за возом тянется длинный чумацкий обоз. Верст двадцать в сутки делает – не больше. Только и того, что безотказно везет и везет.

И где только не встретишь чумака! И на дорогах Таврии, и на киевском шляхе, и в непроезжих кубанских степях.

Вот и сейчас длинная лента чумацкого обоза медлейно приближалась к казачьему лагерю под бакинской крепостью. Весь лагерь высыпал встречать земляков, когда первые скрипучие телеги подошли ближе. Не одно огрубелое казачье сердце забилося растроганно и радостно при виде медленно вышагивающих волов и дюжих сивоусых дядек, невозмутимо покуривающих люльки на грудах мешков. Обветренные лица чумаков до угольной черноты обожжены горячим

южным солнцем. Выгорели свитки в далекой, нелегкой дороге. У каждого чумака под рукой, кроме ременного кнута, и сабля, и старенькая, но верная пищаль.

– Здоровеньки булы, казаки! – степенно здоровается чумак, идущий у первого воза, – седоусый богатырь с широченными плечами и толстой шеей. – Принимай харчи – соль, хлеб та рыбу...

Сотни казаков кинулись к чумакам распрягать волов и разгружать телеги. Другие уже засыпали в котлы белоснежный «ханский» рис из Баку, тащили заветные кувшины с виноградным соком, который лагерные умельцы научились переделывать в крепкую горилку.

Казаки жадно прислушивались к рассказам бывалых чумаков. А им было что рассказать.

– Есть в горах такая теснина – железная дверь, по-ихнему, Демир Капы. С одной стороны каменная стена – глянешь вверх – шапка валится. Другая – не ниже. Вот тут-то они на нас и налетели, – степенно рассказывал рябой чумак.

– Кто? Кто налетел? – допытывались казаки. Чумак пожал плечами.

– А кто ж их знает! Люди... Чернявые, вроде наших черкесов. А разговор у них другой. На конях все и с шашками. Врасплох думали застать. Да не на таких напали. Мы зараз волов отпрягли, пять телег поперек поставили, да и ударили по разбойникам из пищалей. Три раза налетали басурманы. А потом повернули коней и ушли. Человек десять мы побили, да Грицько Палагута одного по голове оглоблей достал. Богатую серебряную саблю и кинжал снял с него.

– Ну! Вот повезло Грицько! Где ж то оружие?

– А пропили! – беспечно отмахнулся чумак. – Как дошли до жилых мест, так и выменяли это самое оружие на чихирь. Добрый был чихирь!

Другой чумак – седой великан с чистыми голубыми, словно детскими, глазами на морщинистом лице, рассказывал о подвигах какого-то атамана Рыжупы.

– А стоит тот атаман Рыжупа неподалеку, вон за теми горами, на Иверской земле. Есть там у него добрая каменная крепость. Кругом нее земли богатые, вольные. На тех землях растет и пшеница добрая, и кукуруза... И баранта гуляет. А живет войско Рыжупы по праведным законам: всю добычу-дуван поровну делят, старшин сами себе выбирают...

– Вона как? Значит, как на Сечи! – удивлялись казаки.

– Поженились многие, – продолжал рассказ чумак. – Люди в той Иверской земле нашей христианской веры. Добрая, сказывают, доля у тех, кто с Рыжупой...

– А где? Где крепость атамана Рыжупы? – посыпались вопросы.

– Там! – чумак махнул рукой на запад. – За горами. Там все атамана Рыжупу знают. По правде атаман живет. И крепко, сказывают, басурманов-кызылбашцев бьет...

Загуляла молва об атамане Рыжупе по казацкому лагерю, забродила в буйных головах. В сырой да теплой земле семя быстро дает всходы. Так и слово чумацкое, оброненное невзначай, как то семя, проросло, породив тревожные думки.

Не успела еще улечься пыль за чумацкими возами, как не досчитались по полкам тридцати восьми казаков. Ушли, по слухам, черноморцы в Грузию к атаману Рыжупе.

Бросил Головатый в погоню сотню конников, да разве найдешь беглецов в диком горном крае. Глухие леса укрыли их.

И тогда твердо решил войсковой судья менять лагерь, чтобы другим невозможно было бежать. И решил во что бы то ни стало договориться об этом с главнокомандующим, который вскоре обещал посетить казачий лагерь.

В день тринадцатого июля из главной квартиры прискакал нарочный и привез Головатому сообщение:

«Ждать к полудню его сиятельство графа Валериана Александровича Зубова».

Забегали старшины по лагерю. Полковники Чернышев и Великий полки в порядок приводить начали, пушкарям велели пушки вычистить до блеска. Разбившись по сотням, казаки протирали оружие, латали шаровары и свитки.

– Подлатать и в самом деле надобно, – бросил Половой Дикуну, – а то, не ровен час, увидит его сиятельство непристойное место...

Ради прибытия главнокомандующего кашевары не пожалели провизии, вдоволь накормили казаков.

После завтрака построили казаков по сотням и велели ждать. А это нелегкое дело – стоять на самом солнцепеке. Стояли и час, и другой, и третий. Уже с десятков казаков замертво свалились на раскаленный песок. К вечеру, когда только первые ряды кое-как держали равнение, а в задних, кто сидел, а кто лежал, вдруг из-за крепостных стен на рысях выехали конники.

Под первым конь не идет, а танцует. Вороной, чисто английских кровей, жеманно перебирает ногами, мундштуки грызет. На командующем мундир в позументах, эполеты на солнце сверкают. И в свите позади один наряднее другого.

Мигнул Головатый полковникам, те – старшинам, и как гаркнули казаки «ура», да тут же из пищалей выпалили, так даже конь под командующим, от неожиданности шарахнувшись в сторону, дал «свечу». Но, как видно, Зубов был неплохим наездником. Твердой рукой он осадил коня, похлопал его по холке и усмехнулся.

– Здорово, славные черноморцы! – крикнул он. – Рад видеть вас среди войск российских! – Ловко спрыгнув с коня, светлейший передал поводья подъехавшему офицеру. – Жалую я вам, славные черноморцы, за верную службу тройную порцию вина!

Снова прокатилось по рядам «ура!» и кверху полетели шапки. Обнялись Зубов с Головатым, по русскому обычаю троекратно поцеловались.

– Батько командир! – громко обратился Зубов к войсковому судье. – Любы мне черноморцы, храбрые казаки, и буду просить вас и товариство приписать меня и сына моего, новорожденного Платона, войсковыми товарищами. А еще, ежели будет такая ваша милость, приписать войсковыми товарищами и штаб мой. – Зубов указал на офицеров, стоящих поодаль.

Головатый повернулся к старшинам.

– Припишем, братья, войсковыми товарищами в наше черноморское войско нашего благодетеля, сиятельного графа Валериана Александровича со штабом, а сына его, новорожденного, определим в войско наше полковым есаулом!

– Приписать! – дружно гаркнули казаки.

– А по сему случаю, – обратился Головатый опять к Зубову и офицерам, – милости просим до нашего стола. Чем богаты, тем и рады. – Он обернулся к казакам. – А вы, казаки, с богом – обедать! Разойдись!

Ряды рассыпались, и казаки устремились к кухням.

Кулеш в этот день был добрый – густой, наваристый, с бараниной. Казаки дружно работали ложками. Только Леонтий Малов ел неохотно, рассеянно пропуская свою очередь.

– Что с тобой, Леонтий? – удивился Дикун. – На солнце сомлел, что ли?

– Нет, братья, солнце тут ни при чем! – вздохнул Малов. Мрачным взглядом он окинул внимательные лица товарищей и закончил: – Ирода проклятого я сейчас увидел,

– Какого ирода? – удивился Шмалько.

– Того, что дочку мою до петли довел. Барина моего, Бибикова...

– Да ведь ты его порешил!

– Очухался, видать... Белявый такой, в голубом мундире, на вороном коне.

Друзья уже знали грустную историю жизни Леонтия Малова, знали и жалели его.

– Плохо ты бил! – жестко проговорил Дикун. – Рука, видать, дрогнула.

– Тогда дрогнула, теперь не дрогнет...

– А что ты теперь удумал, Леонтий? – насторожился Ефим.

Леонтий оглянулся по сторонам и горячо зашептал:

– Понял я, братцы, что по одному бар бить – все одно, как по травинке на огороде дергать. Надо, как государь Петр Федорович делал, – всех их, все барство – на виселицу...

– Ишь, замахнулся! – покачал головой Собакарь. – Да как такое дело зробишь?

– Казаков поднять – и разом всех: господ, старшин – к чертям, в ад...

– Экой ты, да как поднимешь казаков? – покачал головой Собакарь. – Да если б и поднял, то что потом будешь делать? Солдаты рядом, они нас отсюда живыми не выпустят, как гусят перестреляют...

– Кончить с ними – и в горы, к атаману Рыжупе...

– Рыжупе? – усмехнулся Собакарь. – Да есть ли тот Рыжупа на самом деле?

Леонтий вскочил.

– Значит, не согласны? – Глаза его зло сверкнули. – Бойтесь? Эх, вы! – Круто повернувшись, он ушел, не оборачиваясь на зов Дикуна.

– Кипит все в человеке! – понимающе кивал головой Шмалько.

Вечером в палатке войскового судьи собрался совет. Нельзя сказать, чтоб это был официальный военный совет, собравшийся решать план дальнейшей кампании. Нет, это было скорее просто совещание. Головатого беспокоило бездействие казаков и неудачное расположение лагеря. Смерть, гулявшая по лагерю, и бесполезное стояние угнетали черноморцев. Каждую ночь, несмотря на дозоры, один-два казака исчезали.

Присутствовавший тут же на совещании Федоров высказал мысль перевести черноморцев на остров Сары, что напротив Талышинского берега.

– С острова, – сказал Федоров, – дорога в горы будет отрезана.

Зубов подхватил эту мысль и велел на другой же день начать перевозку казаков.

Головатый возражал.

– Надо, – говорил он, – пустить казаков в дело, чтоб они пороху понюхали да пошарили персидские берега. А пустынный остров это не то. Это еще хуже. Только и того, что бежать некуда.

Но спорить с начальством было бесполезно. Перебросить казаков на остров решили в ближайшие дни.

В ту же ночь, под четырнадцатое июля, в казацком стане произошел еще побег. Ночью ушел из лагеря Леонтий Малов, с пятью казаками. Ушел и словно в воду канул. Напрасно его искали в горах и по азербайджанским селениям.

Глава XII

– Эгей, хазаин, принимай барашка, принимай брынза! – гортанно выкрикивал высокий, смуглый азербайджанец в лохматой высокой папaxe, напоминающей островерхую копну сена.

Азербайджанец шел не торопясь, легко неся свое худощавое, мускулистое тело.

– Эгей! Принимай, казак! Наше селение посылал.

Тряся жирными курдюками, впереди него бежало десятка полтора овец. За ними лениво перебирал тонкими ножками осел. Хозяин навалил на него столько мешков, что из-под них торчала лишь голова и неумоимо махающий хвост.

Вокруг азербайджанца столпились казаки.

– Эй, казак! Бэри барашка! – предложил азербайджанец.

– Цэ б добро було, колы б взять его можно, – развел руками один из казаков. – Да не приказано. У нас есаул Смола провиант закупает...

– Эй, Федор! – крикнул Половой Дикуну. – А ну, покличь сюда есаула Смолу!

Азербайджанец, присев на камень, развязал мешок, достав круг ноздреватой брынзы и заткнутый кочерыжкой тугой бурдюк, встряхнул им.

– Эгей! – улыбаясь белозубым ртом, окликнул он казаков. – Иды, буза пить будэм, брынза кушать будэм!

Ловко орудуя небольшим кривым ножом, он нарезал брынзу ломтиками, налил из бурдюка в медный кубок густоватой грязно-молочной жидкости.

Ефим приложился к кубку, с наслаждением выпил, причмокнул:

– А-а! Ну и питье! Сам Мухамед такого не пил...

Черные глаза азербайджанца яростно сверкнули:

– Мухамед резать будэм! Сестра наш забрал, пять дэвушек в селений забрал. В гарем свой забрал. Брат мой свой невеста заступался – брата резали!.. Плохой человек Мухамед, совсем яман...

Казаки быстро опорожнили бурдюк, с удовольствием жевали острый соленый сыр.

– Гарные вы люди... А откуда ты по-нашему говорить научился? – спросил Ефим.

– Вэй! С пэрсидским купцом Страхань-город плыл. Год там жил, – с гордостью похвастался азербайджанец.

Подошел Смола, прищурившись, обошел вокруг овец, развязал мешки, понюхал сыр. Казаки умолкли.

– Сколько просишь? – спросил Смола азербайджанца.

– Зачем – сколько? – загорячился азербайджанец. – Так бэри. Русский – мой кардаш, брат... Его Мухамеда-перса бьет... Так бэри, кушай!

– Гарный народ здесь. Добрый, сердечный! – проговорил Половой.

– Одарить бы его чем-нибудь надо, пан есаул! – предложил Федор Дикун.

– Вот еще! – скривился Смола. – Дают – бери, а бьют – беги. А тут еще одаривать...

– Одарить! Одарить! – закричали казаки.

– Да, такого человека грех не одарить! – вдруг раздался знакомый всему лагерю хриловатый, низкий голос войскового судьи. Казаки расступились, и он прошел туда, где удивленно оглядывался по сторонам азербайджанец, не понимающий, о чем кричат казаки.

– Принести пищаль, да пороху, да свинцу! – приказал Антон Андреевич. – И быстрее!

Смола бегом бросился выполнять указание.

Дикун с удивлением смотрел на Головатого. За эти несколько недель войсковой судья постарел на добрый десяток лет. Обмякли, опали могучие плечи, обвисли усы, лицо налилось нездоровой желтизной.

Прибежал запыхавшийся есаул Смола с пищалью и боевым припасом. Головатый взял из его рук оружие и брезентовые мешочки.

– Бери, друг! – сказал он, протягивая их азербайджанцу. – Пусть сия пищаль верно послужит тебе в бою с нашим общим врагом.

Темные глаза азербайджанца загорелись горячим светом. Он принял пищаль двумя руками и поцеловал ее. И вдруг заговорил по-азербайджански – взволнованно, проникновенно. Казаки молча слушали переливы незнакомой гортанной речи. Они не понимали ее, но подвижное лицо азербайджанца передавало содержание этой речи.

Кто-то осторожно тронул Федора за плечо. Дикун обернулся. Он узнал кузнеца Мамеда и маленького человечка, который тогда, на базаре, выступал как переводчик.

– Вай, казак! – проговорил переводчик. – Ходи на сторона, большой дело есть! Темный дело!

Человечек ухватил Федора за рукав свитки и вывел из толпы. Оглянувшись по сторонам, он заговорил торопливо и сбивчиво:

– Худой дело, казак! Совсем яман дело! Хан Сонгул фирман от шаха Мухамеда получал. Мулла фирман получал. Так приказал – завтра утром русский резить – казак резить, солдат резить. Сонгул народ собирал, мулла народ собирал, грозил башка рубить, кто резить не будет... Наша не хочет за Мухамед воевать... Говорить нада ваш паша...

Дикун нахмурился, оглянулся по сторонам. Прямо на него усталой походкой, нагнув голову и заложив за спину руки, шел Головатый.

– Пан войсковой судья! Слушайте! Недоброе дело! – кинулся к Головатому Дикун.

Антон Андреевич внимательно выслушал его, зорким взглядом окинул азербайджанцев:

– Добре! Спасибо вам, други! Ото всей нашей матушки России спасибо!

Через полчаса один из есаулов уже скакал к адмиралу Федорову. В лагере, по тайному приказу Головатого, были усилены караулы. Приказано было никому за пределы лагеря не отлучаться.

Немного погодя посланный вернулся с ответом адмирала. Федоров выражал сомнение в достоверности сведений, сообщенных войсковым судьей.

– Эх, вобла сушеная! Ни мозгов, ни хитрости – одна шкура блестящая! – ругался Головатый, в бешенстве разрывая адмиральский ответ.

А утром в Баку начался бунт против русских. Воины хана и толпа вооруженных персидских купцов неожиданно напали на караван-сарай, в котором расположилась рота русских солдат.

– Бей неверных! Бей гяуров! – неистово призывали муллы.

– Вур! Бей! – орали купцы, размахивая кривыми саблями.

Отбиваясь штыками, русские солдаты медленно отступали. И едва они вышли из крепости, как тяжелые ворота со скрежетом закрылись.

С диким гиканьем и визгом толпа ханских слуг гонялась по городу за солдатами, не успевшими уйти.

– Алла! Алла! – орали муллы.

Ханские аскеры и купцы поднялись на стены, готовясь к сопротивлению.

По приказу адмирала Федорова «Царицын» подошел ближе к берегу. Пехотные части и казаки готовились к штурму.

И тут бунтовщики обнаружили, что их очень мало. Население города не поддержало их.

Едва грянул первый залп с «Царицына» и ядра с шипеньем запрыгали у мечети, как ханских воинов словно смело со стен. Когда солдаты и казаки ворвались в крепость, улицы были пусты.

Бунт закончился так же быстро, как и начался. Хан Сонгул, слащаво улыбаясь, выразил адмиралу Федорову свое сожаление происшедшим и сам попросил расположить в крепости не роту, а батальон русских войск.

Неприветлив остров Сары. Куда ни глянь – золотистая россыпь песка. За узким проливом, отделяющим остров от берега, – бесконечный разлив камышей, дикий край птиц, мошкары и комаров. А над всем этим – над островом, над камышами, над морем – неистовое солнце.

Половой и Шмалько высадились на остров в числе первых. Сдвинув папаху, Ефим почесал затылок.

– А что, ось как помру я, то непременно в рай попаду.

– Это же почему?

– А потому, што два раза в пекле не бывают. Меня на этой сковородке здешние черти жарить будут...

– Так, значит, и я в рай попаду...

– А я твоих грехов не исповедал, для тебя, может, и этой сковородки мало...

Когда-то, еще задолго до прихода сюда русских войск, Мухамед-ага намечал основать на острове караван-сарай для торговых встреч персидских купцов с астраханскими. Приступили даже к строительству зданий, но вскоре почти все работающие здесь умерли от малярии, а шах забыл про свою затею.

– В этом пекле, видать, без дров жарят, – невесело пошутил Ефим.

– М-да... Хуже этого края не бачил, – поддакнул Осип. – Как не выйдет скоро перемирия, помирать нам всем тут. И чего только эту погибель Сарой назвали. Сара-то по Библии баба была...

– А Толмач говорил, что Сары по-здешнему – Желтый.

Казаки мрачно разглядывали остров. Знойное марево дрожало над песком, тонко и грустно звенели песчинки.

– Эх, звал тогда Леонтий с собой, не пошли, – вздохнул Шмалько. – Чуяло его сердце, видать...

– Да, он, наверно, уже в Грузии, у Рыжупы. А то, может, обратно на Кубань подался.

Волны с тихим рокотом набегали на пологий берег, откатывались и снова набегали. Море сверкало тысячами солнечных чешуек.

С надсадным писком метались чайки.

– Шмалько! Половой! И куда это вас понесло! Там Смола разрывается, вас кличет!

Казаки обернулись. За ними бежал Дикун.

– Чего он? Без нас на остров сойти боится?

– Батарею строить надо.

– Мошкару с пушек бить будем...

Казаки повернули назад.

Весь день до поздней ночи, надрываясь, стаскивали черноморцы со своего острова камни, строили батарею, набивали песком мешки, заколачивали сваи для казацких челнов, сгружали с судов ядра, запасы продовольствия.

Утреннее солнце удивленно заглянуло в зевы казацких единорогов, направленных в сторону Талышинского берега.

Ночь над Каспием. В темноте дрожат редкие звезды. Сорвалась одна, закатилась. Кто-то вздохнул.

– Чья-то...

Казацкие челны бесшумно скользят все дальше и дальше на юг, к персидским берегам. Третьи сутки на исходе.

– И-эх! И-эх! – взмах, рывок, взмах, рывок.

Скоро рассвет. Приналегли казаки на весла, торопятся. Задумало русское командование ударить силами черноморцев в тыл кызылбашам. Это заставило бы задуматься заносчивого Мухамеда-агу.

Казачий флот вел Головатый.

«И-эх! И-эх!» – скользят челны. Дикун сидит на корме. В ожидании схватки тревожно стучит сердце. Пристально всматривается он в смутные очертания берега.

«Точь-в-точь как ходили когда-то к турецким берегам», – вспоминает он свой первый поход.

Спереди, сзади, с боков – челны. Темными силуэтами маячат в них казаки. Их много, в каждом челне по десятку. Ефим вместе с Федором. Он сидит на веслах. На носу стоит Смола. Казаки тихо переговариваются.

– Не ждут. А на них погибель идет.

– Тоже люди, небось...

– Какие там люди, нехристи...

Потянуло дымком овечьих кизяков.

– Готовсь! – негромко обронил Смола.

Челны, развернувшись всею, понеслись к берегу. Все ближе и ближе надвигается темная громада берега. Нигде ни огонька. Только слышен лай собак.

Не ждали караульные персы казаков, поздно хватились. Не успели сделать и выстрела, как людская волна выплеснулась на каменистый берег и устремилась к городу. Звонкоголосое «ура» от моря понеслось по улицам.

Из казарм в одном белье выскакивали солдаты шаха.

Все перемешалось в рукопашной схватке. В кривых улочках рубились, озверело резались кинжалами, кровью брызгали на стены глиняных домишек.

Огненные языки пожара в нескольких местах взметнулись над городом. В багровом свете виднелась сверкающая сталь.

На Дикуну налетел высокий бритый перс. Увидев казака, он оскалился и взвизгнул. Зазвенели скрестившиеся сабли. Отбив наскок, Федор рывком вонзил клинок в грудь перса. Тот схватился за казачью шашку и рухнул на спину, тяжело застонал.

Перескочив через убитого, Дикун побежал вперед по узкой улочке. За поворотом, у белой высокой стены, два перса в шароварах, но без рубашек, наседали на есаула Смола. Прижавшись к стене, тот с трудом отражал сабельные удары. Федор бросился на выручку. Один из персов, издали заметив его и размахивая саблей, налетел на казака.

Перс орудовал саблей умело. Федор чувствовал, что перед ним опытный воин. Зарево пожара освещало бронзовое тело, мускулистые руки. Дикун не видел, как разрубленный чуть ли не надвое упал Смола, как почти сейчас же подоспел Ефим и, зарубив перса, побежал на помощь другу.

– Держись!

Увидев перед собой второго казака, перс, мгновенно отскочив в сторону, юркнул в темный переулок. Ни Федор, ни Ефим не стали догонять его.

– Спасибо, друг, выручил, – тихо сказал Дикун.

– Ладно, пошли...

На востоке небо стало серым. Над морем нависла молочная пелена. Уже не один казак и не один перс заснули вечным сном на тесных, каменистых улицах. Вытаптывая виноградники, все дальше и дальше в горы уходят солдаты шаха. Наконец не выдержали, дрогнули, побежали.

Багровое солнце выглянуло из-за моря, осветило горы, зелень садов.

Дикун прислонился к каменной изгороди, зубами оторвал край рубашки, перевязал рассеченную руку и удивился:

«Когда это меня? Я и не заметил».

Бой кончился. Казаки расходились по городу, заглядывали в уцелевшие от пожара домики. На базаре взломали лавки, драли на онучи дорогие кашемировые платки, тащили в лодки персидские ковры, шелка, все ценное, что попадалось под руку.

Пьяно пошатываясь, Федор побрел к берегу. Там лежали убитые казаки.

– Вон Смола... А вон Гайдук, одностаничник. Дома жена и трое детишек ждут...

У каменного причала – тоже убитые... Как братья, лежат рядом, словно согревая под южным солнцем застывшую кровь.

В муках рождали их матери, баюкали, не досыпая ночей, радовались, глядя, как росли они. А война в одночасье сожрала их.

С тяжелой думой прилег Дикун на дне челна. Подошел разгоряченный боем Ефим. Снял рубашку, долго, с остервенением мыл лицо, руки, грудь, будто смывал с себя чужую кровь.

На море надвинулась тяжелая, сизая туча. Она закрыла солнце, хлопьями повисла над водой. Ветер, северный ветер рябил волны, освежал воздух, дышать стало легче.

Порушив Астару, возвращались черноморцы к себе на остров. Недельный морской переход вконец измотал казаков. Раненые стонали, просили пить, а воды не было. Во рту сохло, губы лопались до крови. Умерших хоронили в морской пучине, заворачивая в дорогие пер-

сидские ковры. Высаживаться на берег Головатый не велел. Слух о дерзком казачьем набеге облетел все побережье, и шахские отряды караулили казаков.

Воспаленными глазами вглядывались черноморцы в желанный берег.

– Паруса! – взметнулся над морем крик дозорных.

От неожиданности Дикун вздрогнул. Из-за горизонта, прямо на них, белыми чайками неслись паруса.

– Не зе-ва-ай! Гля-ди-и! – сгоняя усталость, пронеслось по челнам.

Зоркие казачьи глаза разглядели, что шел купеческий караван.

– Персы-ы!

Там тоже заметили казацкие челны. Видно было, как поднимали паруса, и суда ложились на новый курс, в открытое море.

– Вдого-о-он! – раздалась команда с бота.

Федор узнал по-молодому зазвеневший голос Головатого. Оглянулся на товарищей – их восемь в челне. Налегли они на весла, и челн птицей понесся за караваном.

Вот одно персидское судно стало отставать от других. Потом другое. Видно было, как команды этих судов на шлюпках спешили вдогон каравану.

Дикун следил за небольшим парусником. Он еще уходил от преследования, но нетрудно было заметить, как сокращалось расстояние между ним и челном.

С парусника спустили шлюпку, и она стала уходить от него.

В пылу погони ни Дикун, ни другие казаки, плывшие с ним в одном челне, не заметили, что вырвались далеко вперед. Их товарищи, захватив ближние суда, поворачивали обратно.

Челн подошел к паруснику, слегка толкнулся о борт и, покачиваясь на волнах, остановился. По свисавшей веревочной лестнице казаки вскарабкались на палубу. Половой и Дикун, держа на изготовку пищали, осторожно пошли вдоль борта.

– Ни одной живой души...

– Похоже на то...

Два казака спустились в трюм.

– Идите сюда! – позвали они остальных. – Тут персы!

При появлении казаков четыре перепуганных насмерть перса забились в угол.

– Та они как мыши трясутся!

– А шо с ними делать?

– Як шо? Потрясем мошну, та й в воду, – ответил за всех один из казаков. – Гроши есть? – нахмурил он брови.

Персы, не понимая, чего от них хотят, затравленно озирались.

– Ах вы, нехристи! Гроши, кажу, гроши!

– Та брось ты их, Коляда, – заступился пожилой казак со шрамом через всю щеку. – Чи не бачишь, шо у них и так в чем душа держится...

– Не твое дело. На, держи! – Передав пистоль другому казаку, Коляда, поигрывая кинжалом, подступил к персам. – Зараз вы у меня забалакаете.

Стремительным, ловким движением он ткнул кинжалом в горло седобородому персу. Тот всплеснул руками, захрипел и бессильно осел на грязный настил.

Остальные персы упали на колени и визгливыми голосами стали умолять казака.

Спускаясь в трюм, Дикун услышал этот полный ужаса визг. Увидев Коляду с окровавленным кинжалом, Федор на мгновение оторопел:

– Ты что?

Все повернулись к нему. Коляда равнодушно произнес:

– А ты чего лезешь, куда тебя не просят?

Он нагнулся, вытер кинжал о халат убитого и полез к нему за пазуху.

Дикун схватил его за грудь, приподнял.

- Геть, – прохрипел Коляда. – Не твое засыпалось, не твое и мелется.
- Иди отсюда, аспид! – Федор толкнул его.
- Верно! – поддержали его другие. – Мало ты в Астаре пошарпал? Чего душегубствуешь?
- И чего вы за бусурманов заступаетесь? – поддержал Коляду казак, державший его ору-

жие.

Спор прекратил Ефим. Он закричал сверху:

- Браты, челн угнало!

Казак, толкаясь, ринулись к выходу. Далеко, ныряя в волнах, маячил их челн.

- Эх, привязать-то забыли!

- А наши аж вон где!

- Стреляй, может, услышат...

Дружный залп прокатился над морем. Еще один. Половой, вскарабкавшись на мачту, замахал красным кушаком, снятым с перса.

А ветер гнал парусник.

- Кажись, услышали! – радостно крикнул Ефим. – Вижу, на боте вроде сигналият.

– А больше ничего не бачишь? – оборвал его Дикун. Он первым заметил, как от ближнего парусника отвалили две шлюпки. – Слезай, Ефим, отбиваться будем.

Казак зарядили пистолы, стали вдоль борта. Сорвались первые крупные капли дождя, с шумом ударили по палубе.

- С дождичком вас, – попробовал пошутить Ефим. Он снял папаху, подложил под локоть.

- Ефим, – повернулся Дикун, – выгони персов, нехай якорь спустят.

Через минуту, тарахтя цепью, в воду опустился якорь, и парусник, вздрогнув, как необузданный конь, встал.

- Теперь, может, продержимся, пока наши подойдут.

Шлюпки подходили к паруснику. Видны были бритые головы персов, гребцы откидывались назад в такт взмаху весел.

Ефим спокойно проговорил:

- Ось мы трошки полякаем персов, а потом они нам трошки шкуру на барабан спустят.

У них, говорят, казачьи шкуры в цене.

Персы приближались без предосторожностей. Вот их шлюпки подошли на ружейный выстрел.

- Бей! – негромко бросил Федор.

Грянул залп, и над бортом парусника взметнулось седое облачко. Когда оно разошлось, все увидели, что персы поспешно повернули назад.

Кто-то из казаков пронзительно свистнул.

- Кишка тонка!

- Бот к нам звернул! – радостно крикнул казак со шрамом.

- Ага, услышали! – облизал пересохшие губы сосед Дикун.

Подгоняемый попутным ветром, бот неся к ним на всех парусах...

На исходе следующего дня казачий флот уже причалил к острову Сары.

Смерть косила казаков направо и налево. Не в бою, а из-за угла забирала костлявая. На песчаном мысу растет и растет число деревянных крестов. Смутно в лагере. Уже осень кончается, зима на подходе, а жара не спадает.

Не узнать и Головатого – совсем дряхлым стариком выглядит войсковой судья. Вести одна другой тяжелее подтачивают его. С каждым днем редее войско. И не в боях, не в схватках с врагом, а на этом проклятом острове.

Ходит, ходит казак, здоровый, веселый. И вдруг начинает бросать его то в лютый холод, то в нестерпимый зной. Желтизной наливаются лицо и тело, синеют губы. И, глядишь, уже

ташат казака на проклятый мыс, и еще один песчаный бугорок с маленьким, тонким крестом появится там...

Каждый день читает Головатый новый и новый скорбный список жертв желтой смерти.

Несколько раз войсковой судья посылал нарочных к графу Zubову, просил того пожалеть казаков, разрешить уйти с дьявольского острова или в новый поход отправить. И каждый раз приходил один ответ: «Стоять и ждать».

В конце концов Антон Андреевич решил отписать обо всем кошевому, пускай он к друзьям своим вельможным обратится, может, те шепнут нужное слово матушке-императрице.

Написал войсковой судья подробное письмо, собрался печать свою ставить. Вдруг в шатер, пошатываясь, вошел усталый казак и протянул Головатому пропотевший пакет.

«Из Екатеринодарской крепости!» – определил Головатый. И, махнув рукой казаку, сломал печати.

От первых же строк письма войсковой судья тяжело рухнул на грубый табурет и схватился за седую голову. Скупые и горькие слезы потекли по его загорелому, морщинистому лицу.

Да, опоздал Головатый со своим письмом. То ли годы подошли старому казаку Захарю Чепеге, то ли раны старые сказались. Нет больше кошевого Захария Чепеги, прозванного «Харько». Скончался атаман в сентябрьские дни в Екатеринодарской крепости. Схоронили казаки своего атамана под раскидистым дубом, близ войскового правления.

Умер Чепега и все свое богатство завещал войску да церкви, ибо не было у него никого в роду. Всю жизнь провел кошевой в походах и сражениях.

Вытер Головатый рукавом слезы и стал читать дальше подробное письмо Котляревского. Писал в нем войсковой писарь, как схоронили Чепегу и как порешили казаки на круге избрать его, Головатого, батькой кошевым.

Прочитал письмо новый кошевой атаман, приказал кликать старшин. Им он огласил письмо. Зажирились полковники да есаулы. Помянули молчанием почившего кошевого, а затем сказали:

– Славно пожил покойный, добрый был казак.

– Добрый! От вражеской сабли не прятался, от пули не бегал!

Ударили литавры, собрались казаки на круг. Вышел Головатый и всем зачитал письмо. Скинули казаки папахи, поникли головами. Вспомнили кошевого, помянули товарищей, легших на чужбине, тут, на глухом берегу, и, выкрикнув «ура» новому кошевому, разошлись по острову.

А вскорости не стало и Головатого. Поехал он к Zubову просить, чтоб нашли казакам другое, подходящее для лагеря место, а тот и слушать не стал. Мрачный, туча тучей вернулся новый кошевой на остров. Тут и болезнь подкралась к нему. Сначала появилась одышка, отказали ноги. А в январе 1797 года узнали казаки о смерти Антона Головатого.

Ты, Кубань, ты, наша родина,
Вековой наш богатырь.
Многоводная, раздольная,
Разлилась ты вдаль и вширь.
(Из старинной казачьей песни)

Часть 2 Бунтари

Глава I

Январь засыпал кубанскую степь сухим, колким снегом, сковал морозом болота и тихую речонку Карасун. Пушистый снег лег на крепостной вал, завалил куренные строения, улицу. По утрам серебряный иней укутывал деревья, мучным налетом пудрил медные стволы пушек.

У войскового правления, как и год назад до ухода казаков в персидский поход, стоит казак-часовой. На ступеньках примостился дневальный, прищурившись, попыхивает люлькой. У ворот крепости караульная будка и дежурный казак-пушкарь...

В войсковом правлении за деревянным барьером три урядника-писаря не столько писали, сколько лениво болтали о новостях и слухах.

Только и изменений, что нет теперь уже в живых атамана Чепеги, а избранный на его место кошевой Головатый где-то далеко на Хвалынском море воюет с кызылбашцами.

Казак у крепостных ворот прогуливается от пушки до будки и обратно. Иногда он останавливается, хлопает по дублёному кожуху озябшими руками, потом приседает, снова поднимается, топает ногами. Со стороны кажется, что казак вот-вот пустится отбивать гопака. Иногда со скуки караульный мурлычет себе под нос:

Ой, дидо, калина моя,
Ой, ладо, малина моя!

Издали, по мерзлому насту, зацокали копыта. Казак торопливо выглянул в смотровую щель. По Дмитриевскому шляху наметом шел верховой.

«С пакетом», – подумал казак, поспешно распахивая ворота.

Из караулки выскочил урядник. Верховой офицер у крепости осадил коня, шагом подъехал к правлению. С порожек сбежал дневальный и, подхватив лошадь под уздцы, придержал стремя. Офицер долго притоптывал одеревеневшими ногами, тер щеки и только потом спросил у дневального:

– Где его превосходительство генерал-майор Котляревский?

– Я вас проведу, ваше благородие, – вызвался один из писарей.

Тимофей Терентьевич Котляревский собирался идти домой обедать, когда дверь без стука отворилась и вошел молодой подтянутый поручик.

– Из Петербурга, от его императорского величества Павла Петровича вам пакет! – приложив ладонь к папахе, отчеканил офицер и, торопливо расстегнув шинель, вытащил засургученный конверт.

– Как от Павла Петровича? – поднявшись, недоуменно спросил войсковой писарь.

– Государыня Екатерина Алексеевна божьей волею скончалась шестого ноября.

– Царство ей небесное!

Котляревский широко перекрестился.

Дрожащей рукой надорвав край пакета, он вытащил небольшой лист и, шевеля губами, прочитал:

«Мы, божьей милостью, император и самодержец Российский, повелеваем вам, генерал-майору и войсковому писарю Черноморского казачьего войска, прибыть в Санкт-Петербург и принять участие в предстоящих празднествах по случаю нашей монаршей коронации.

Павел.

Санкт-Петербург,
1796 год, в день 20 ноября».

Приехавший офицер заметил, как дрогнуло сухое, равнодушное лицо Котляревского. На мгновение офицеру почудилось, что в тусклых глазах генерал-майора мелькнула радость. Но когда он пристальнее взглянул на него, то не заметил никакого волнения. Лицо войскового писаря было спокойным, сосредоточенным. Задумчиво сложив письмо, Котляревский позволил. Вбежал дневальный казак.

– Проведи господина поручика ко мне домой, – приказал Котляревский. – И немедленно вызови в правление всех старшин.

Когда поручик вышел, Котляревский, обхватив ладонями седеющие виски, долго сидел в раздумье. И кто знает, что за мысли были у него. Может, весть о смерти императрицы напомнила, что и у него жизнь движется к закату. Или, может, видел тот петербургский бал во дворце, на котором он, еще молодой казачий старшина, лихо отплясывал мазурку с красавицей фрейлиной. Сама Екатерина обратила тогда на него внимание...

А может, уже видел властолюбивый войсковой писарь в своих руках желанную атаманскую булаву и выбирал наиболее верный путь к ней.

Котляревский вздохнул и снова перечитал письмо.

– Ишь ведь, как пишет: прибыть! – вслух проговорил он и тут же кликнул старшего урядника-писаря.

– Посылай нарочных на кордоны, пусть оповестят полковников, чтоб безотлагательно прибыли в канцелярию.

Урядник, козырнув, направился к двери.

– Погоди!

Урядник вернулся.

– Заготовь письмо Антону Андреевичу, уведоми его, что я на той неделе по именному повелению государя-императора отбываю в Петербург, а вместо меня тут остается полковник Кордовский...

Вечером еще один нарочный поскакал в Ачуевский рыбный завод с наказом срочно выслать в Екатеринодар шесть бочончков лучшей зернистой икры да пять сотен отборной копченой шемаи.

А дома войсковой писарь долго перебирал драгоценное оружие, добытое в боях с горцами: кинжалы в серебряных с чернью ножнах, шашки. Подумав, Котляревский приказал заботливо упаковать три драгоценные шашки-гурды и пять кинжалов.

Войсковой писарь генерал-майор Котляревский готовился мостить путь к атаманской булаве.

Но на сердце у него было беспокойно.

«У Антона в Петербурге много вельможных покровителей! Конечно, старый все знает. Как бы впросак не попасть», – думал Котляревский.

Но накануне его отъезда, в самом конце февраля, на имя войскового писаря Котляревского пришло от полковника Чернышева письмо о смерти Головатого.

Глава II

Зима на Каспии в этот год выдалась студеная. Соленые морские волны с рокочущим грохотом били в песчаные берега. Сырой ветер со свистом носился над островом, сметая песок и снег. Низко-низко ползли мрачные, тяжелые тучи, из которых сыпался то мокрый снег, то надоедливый мелкий дождик. Чернышев, принявший командование над казаками после Головатого, нарядил сотню казаков на Большую землю для заготовки дров. Но переправлять дрова

на остров было невозможно: по мелководному проливу ходили огромные волны. Продукты в полках тоже были на исходе.

Теперь казаки умирали не только от желтой смерти, но и от простуды и истощения. Кладбище разрасталось, словно наступая на лагерь.

Боевые действия свернулись сами собой. Персы очистили побережье, а их флот ушел к южным берегам Каспия.

Еще до наступления лютых холодов построили черноморцы на острове курени, а посреди, по старым запорожским обычаям, на майдане, у полковых кухонь под бревенчатым навесом место для литавров отвели. На майдан по удару довбыша в литавры сбегались казаки, чтоб выслушать команду полковников.

Медленно, однообразно, час за часом, день за днем текло время... И никто, вплоть до самого Чернышева, не знал, для какой надобности сидят казачьи полки на проклятом желтом острове.

Но вот, наконец, пришел высочайший рескрипт об окончании военных действий. А в конце его дописано, чтоб стоять полкам до весны там, где их застанет этот указ.

Всю ночь, не переставая, кружился сырой снег, дул пронзительный ветер. Он завывал по-шакальи и нагонял тоску. Ветер забирался в курени, шарил по углам, задувал каганцы.

В Васюринском курене никто не спал. Васюринцы молча скучились у нар, где, разметавшись, бредил умирающий. Синие смертные тени уже легли на лицо казака, грудь тяжело, со свистом вдыхала воздух. И только черные глаза еще горели ярким лихорадочным светом. Казак поминутно звал то отца, то еще кого-то. Дикун заботливо подсунул под голову больному торбу, положил руку ему на лоб. Кто-то за спиной тихо сказал:

– Отходит.

Федор повернул голову к Собакарю.

– И в нашем курене смерть...

– В каждом...

Больной открыл глаза, слабым голосом позвал:

– Федор!

– Что, друг?

Дикун наклонился.

– Дуван мой, як на Кубань вернетесь, продайте, та и наберите горилки, та й меня помяните. Бо мне уже не пить... Оружие поделить меж собою, бо сына у меня нет, а жинке ничего не надо, она баба.

Казак замолчал, веки закрылись. Он весь как-то вытянулся и затих.

– Все... Царство небесное! – Собакарь снял мохнатую папаху, перекрестился.

Один за другим скинули шапки все, кто был в землянке. И наступила в курене страшная тишина.

Умер казак, ушел на тот свет без святого покаяния. Не в честном бою погиб, не вражья пуля скосила, а одолела смерть на этом, богом проклятом, острове... Из полусотни васюринцев этот был семнадцатым, кому навечно лежать в чужом краю. Каганец, не поправляемый никем, потух. Забрел рассвет, засерело в курене...

Не выдержал Собакарь.

– Братцы! Доколь терпеть будем? – высоким, надрыв-с-ым голосом выкрикнул он. – Пока не перемрем все тут до одного? Или нет у нас оружия? Или мы не казаки?

– Правильно! Верно! Кому охота смерть задаром принимать! – подхватили казаки.

– Уйдем на Кубань!

– На майдан! Бей сполох!

Казаки торопливо надевали свитки, хватались за сабли и пистолы.

– Перебьем старшин!

Толкая друг друга, васюринцы бросились к дверям.

– Стой! – опомнился вдруг Федор. – Стой, казаки! – Он встал у двери, широко расставил руки.

– Чего там, не слухай его, ребята! Довольно, натерпелись! – кричали задние.

Казаки стеной двинулись на Федора.

– Назад! Опомнитесь! Послушайте меня!

Васюринцы притихли. Дикун возбужденно заговорил:

– Куда вы, такие-сякие! Да коли вы и перебьете старшин, а дальше? Как с острова выберетесь? Как на Кубань попадете? Да вас солдаты всех до одного перестреляют...

– Аи правду он кажет, – согласился кто-то.

Ободренный поддержкой, Федор продолжал:

– Браты! Или у меня, думаете, на сердце не накипело, или, думаете, я старшинам заступник? Да я, может, больше вашего им враг! От тут они у меня сидят! – Он ударил себя по затылку. – Чешутся и у меня руки. Дайте время, придем на Кубань, в Катеринодарскую крепость, там за все спросим... Там нас курени поддержат. Ответят нам старшины за все обиды!

Казаки остывали от яростного запала, постепенно соглашались с Федором.

– Так-то оно так, – наконец проговорил Собакарь. – Надо кликнуть казаков на майдан да миром потребовать полковников, чтоб они ответили, сколько нам тут стоять. Не хай ведут нас к нашим куреням!

– Курени наши бурьяном позарастили, жинки с голодудохнут! – выкрикнул один из казаков.

– Зато Чернышев и Великий на этом походе, на наших бедах руки греют, – добавил Собакарь. – Антон Андреевич, тот их, жадных душ, в руках держал. А то весь харч казацкий раздували бы...

– Ах, они вражины!

– Вот что, браты! – повысил голос Дикун. – Старшин до поры не трогать, шоб лиха не нажить. А вот скликнуть казаков на майдан да потребовать, чтоб нас быстрее на Кубань отправили, – это правильно.

Шумной толпой казаки вывалились из куреня. Снег перестал сыпать, небо прояснилось, потянул морозный ветерок. На майдане ни души.

– Где довыбьш? – закричало несколько голосов, – Где он, бисов сын, ночует?

– Та бейте чем-нибудь!

Здоровенный широкоплечий казак, выдернув вбитый в землю кол, ожесточенно заколотил по литаврам.

На первые звуки из ближнего куреня выскочил еще не очнувшийся от сна довыбьш – дюжий конопатый казак.

– А ну геть видциля! Шо вам литавры, цяцька, чи шо?

– Замолчи! – зацыкали на него васюринцы. – Бери лучше свои палки та бей сполох!

Казаки окружили седого довыбьша плотным кольцом. Видя, что спорить бесполезно, он извлек из широченных штанин палки и ударил в литавры.

Солнце багряным шаром выкатилось из-за туч, осветило заросшие, изможденные лица черноморцев, рваные овчьи полушубки...

– Зачем скликали?

– Думать треба, браты казаки, когда все это кончится!

– Что-то полковников не видно.

– А вас не по полковничьему указу скликали!

Толпа росла и волновалась. Один за другим на майдач подходили старшины. Первым прибежал есаул Белый, а за ним сотники Лихотный, Павленко, есаул Чигринец. Они толпились чуть в сторонке и шептались, ожидая Чернышева и Великого.

– «А полкам стоять лагерями до нашего на то высочайшего указа. Павел», – прочитал Чернышев по складам. Прочитал и взглянул на Великого. – Вот так-то!

Великий сидел на деревянном чурбаке, заменявшем табурет. В полковничьем курене холодно, и на плечах у Великого наброшен бараний тулуп. Жирные щеки лоснятся, а широкие брови, сросшиеся на переносице, строго нахмурены.

– Не миновать нам лиха, чует мое сердце...

– Что поделаешь? Не от нас сие зависит, – Чернышев пожал плечами. И тут же добавил: – А домой, ежели половина вернется, и то добре будет.

– Недолго и до смуты. – Великий взглянул на Чернышева. – Поговаривают, что Дикун и Собакарь казаков подбивают к неповиновению. Они в твоём полку, надзор бы за ними учинил.

Чернышев от злости крикнул, подумал: «Тоже мне указчик. Пока я тут атаман». Но вслух соболезнующе проговорил:

– Оно, друже, и у тебя в полку не все ладно. Ты б лучше за своими доглядывал, они у тебя тоже языки поразвязали. – И подумал: – «О Дикуне и Собакаре мне ведомо. Ежели бы только эти, то не след бы тревожиться, а то все такие...»

Великий не возражал, встал, подошел к земляным нарам, сделанным в форме топчана. Сбросив тулуп на матрац, принялся стягивать сапоги.

– Спать надо, а то мы с тобой проговорили до последних петухов. Рассвело уже...

Лег, повернулся на бок. Чернышев дунул на каганец и тоже стал ложиться. Сквозь нудное завывание ветра вдруг донеслись тревожные удары литавров.

Великий вскочил.

– Чуешь?

Чернышев поднимался медленно...

«Не ослышались ли?»

Нет! Кто-то ожесточенно бил в литавры.

– Бунт?

Чернышев схватился за папаху.

– Чуяло мое сердце, – поспешно одеваясь, проговорил Великий. – Чуяло!

А майдан той порой уже гудел. К Дикуну протолкались Шмалько и Половой.

– Шо, Федор? – тихо спросил Половой.

Дикун склонился к уху Ефима.

– Походить надо бы среди казаков. Главное, чтоб кровь не пролилась. Пусть одно кричат – чтоб на Кубань отправляли.

– Добре!

Глухой ропот неожиданно оборвался, как струна. В круг, бросая по сторонам злые, настоженные взгляды, вбежал Чернышев. Вслед за ним торопливо шагали Великий и другие старшины.

Сдвинув мерлушковую папаху на затылок, Чернышев положил руку на саблю. Левая щека, рассеченная глубоким шрамом, подергивалась нервным тиком.

– Кто смел без моего на то ведома созвать круг? – сурово спросил он.

– А мы сами себе указка! – насмешливо выкрикнул кто-то. – Ведом твой нам ни к чему!

Делая вид, что не расслышал, Чернышев продолжал.

– Что это значит?

– А значит то, что нашему терпению приходит конец! Хватит! – вразнобой закричало несколько голосов. – Для чего держат нас тут? Чтоб перемерли все?

Федор отчетливо услышал низкий бас Осипа.

– Веди полки на Кубань!

И сейчас же толпа загудела.

– На Кубань! По куреням!

Чернышев повернулся к Великому, что-то сказал вполголоса. Тот, сейчас же выйдя из круга, поспешил в землянку. Вскоре он вернулся, неся свернутый в трубочку лист бумаги. Когда крик постепенно начал утихать, Чернышев поднял руку.

– Черноморцы, братья! Тут крикуны подбивают вас забыть присягу и на Кубань по хатам самовольно разойтись! Не можно это!

– Ишь ты, – бросил Собакарь через плечо Дикуну, – як прикрутило узлом, так сразу в братья записался...

Чернышев посмотрел в ту сторону, где стоял Дикун. Взгляды их встретились. С минуту они словно боролись взглядами. Наконец Чернышев, не выдержав, отвел глаза.

– Не можно того! – вновь выкрикнул он. – Вам того не ведомо, что стоять тут нам повелел сам государь-император! Вот! – Чернышев потряс в воздухе бумажным свитком, взятым из рук Великого. – «А полкам стоять лагерями до нашего на то высочайшего указа. Павел», – прочитал он громко.

– Дозвольте, други-товарищи, слово молвить! – Дикун вошел в круг, стал вблизи Чернышева. Постепенно все затихло. Федор видел сотни смотревших на него глаз и сердцем почуял, что казаки верят ему.

– Други! – голос Дикуну зазвенел в морозном воздухе. – Гляньте на себя! Одна сиромата тут, окромя их. – Он указал на сбившихся кучкой старшин. – Все, кто мог откупиться, остались там, по куреням! А в польском походе с Чепегой кто был? Така ж сиромата, как мы...

– Не слушайте его! – Великий шагнул вперед. – Такие, как он, на смуту вас подбивают.

Толпа взорвалась. Сотни гневных голосов перекрыли голос Великого.

– Брешешь! Правду Дикун балакае! Всех вас бы к чертовой бабушке отправить! Нажились на казацких харчах! Лопните скоро от сала!

Дикун поднял руку.

– Тише, други! Слушайте!

Постепенно все смолкли. Федор повернулся к Чернышеву.

– Вот ты, пан полковник, кажешь нам, что эта бумага подписана самим царем. Так до бога высоко, а до царя далеко, ему нужд наших не видно! А вот наш тебе сказ: уведи полки на Кубань! Такова наша воля. Правильно я речь веду?

– Верна-а! На Кубань!

– А не поведете нас, – сами уйдем. Оставайтесь тогда одни, ждите, пока смерть придет.

– Верно! Сидим тут, як квочки, и ни на войне и ни дома.

Выждав, пока казаки утомонились, Чернышев заговорил:

– Не могу! Нет, не могу уйти без высочайшего указа. – И немного погодя: – Но обещаю, что сегодня же опишу о нуждах ваших и требованиях главнокомандующему, а он самому государю донесет. Надеюсь, что ответ не заставит ждать. Через месяц-другой вам, черноморцы, позволят уйти по куреням... А пока – расходись! Кулеш уже, должно, поспел.

Казаки нехотя, медленно расходились с майдана.

– Ну, Дикун, – изогнув по-воловы шею, прошипел Чернышев. – Помни, здесь тебе не Сечь Запорожская, а цареве войско. – Лицо полковника побагровело от злости. – Эдак и до Сибири достукаешься.

Федор только прищурился.

– Ты, пан полковник, осторожней на поворотах, бо поскользнешься.

И круто повернувшись, пошел вслед за удаляющимися товарищами.

Глава III

Первыми о весне известили многочисленные стаи скворцов. Они облепили осокорь во дворе Андрея Ковалья, колодезный журавель с привязанным сверху колесом от телеги. Они весело гомонили, пересвистывались, хотя настоящей весны еще не было.

За двором – степь. Ни конца ей, ни края. Сошел с нее снег, и стоит она бурая, поросшая высохшим на корню бурьяном, ожидая весенней солнечной ласки. Небо еще хмуро и серо. Но на крыше приземистой кузницы, крытой дерном, уже вылезли зеленые стрелки травы. Набухли клейкие почки на осокоре – вот-вот лопнут и распустятся нежными лепестками...

Андрей Коваль с утра натягивал шины на ободья. В кузнице было угарно и дымно. Огонь, раздуваемый время от времени огромными мехами, выхватывал из темноты закопченные стены и потолок.

К вечеру, когда Коваль собрался кончать работу, к кузнице подкатила бричка. От забрызганных грязью коней валил пар, они тяжело водили боками. Грязь толстым слоем намоталась на колеса, налипла на бричку.

– Бог помощь, Андрей! – Возница спрыгнул на землю и, согнувшись, чтобы не удариться о низкую дверную коробку, вошел в кузницу.

Коваль отложил кувалду в сторону, вытер руки кожаным фартуком.

– Вечер добрый! – узнал он Митрия, батрака Балябы. – Что тебя загнало к нам? Может, дорогу в Васюринскую потерял?

– Да не-е-е-т... – протянул Митрий. – Ушел я от Балябы. А жить-то надо... Вот и нанялся к другому. У Кордовского я роблю. Сейчас на хутор послали, чабанам соль везу.

Митрий закашлялся, помолчал, глядя на меркнувшие угли. Немного погода пожаловался:

– Баляба-то за работу так ничего и не дал... Да что, кабы только мне... Сейчас уже другого работника заарканил... Тоже из Расеи, беглый.

Андрей снял фартук, положил на наковальню и принялся собирать инструмент.

Вышли из кузницы на улицу.

– Дядько Митрий! – окликнул звучный женский голос. Они обернулись. Из двора Кравчины к ним спешила Анна.

Митрий обрадовался.

– Аннушка! А худющая какая стала.

В глазах Анны тоска.

– Чай, все по дому скучаешь?

Анна не успела ответить. Из хаты вышел Кравчина, сердито позвал:

– Ганна!

Она заторопилась.

– Я пойду. Прощевай, дядя Митрий. А как там дома?

И даже ответа выслушать не успела.

– Эх, видно, и жизнь у нее! – сокрушенно вздохнул Митрий. – Позарился-таки атаман на богатство...

Из степи, надрывая душу, донесся вой голодного волка. Кони испуганно зафыркали.

– Вишь, проклятые-то, к самой станице подходят. Сейчас чабаны не зевай, гляди в оба. Самое время для волков. Ежели позволишь, заночую я у тебя, дорога-то дальняя, кони притомились. Да еще эти серые атаманы бродят по степи.

– Добро пожаловать, – пригласил Коваль.

Митрий закашлялся, прижал руку к груди и сплюнул темный сгусток крови. Лицо его побледнело, на лбу выступил пот. Коваль взглянул на него.

– Что с тобою?

– В грудях болит... Послал нас Кордовский после нового года, троих работников, в низовья красной рыбы изловить, для Котляревского, что ль, потребовалось. А погода-то стояла студеная. Сделали мы проруби, зачали, значит, багрить, я и поскользнулся, в полынью угодил...

На другое утро, проводив Митрия, Андрей управлялся в конюшне. Ветер раскачивал двери, и они скрипели на петлях. Поддев вилами сено, Андрей с маху бросил его в кормушку лошади. Та покосилась на хозяина, фыркнула. Шершавой мозолистой рукой Коваль похлопал ее по холке.

– Застоялась! Скоро, скоро в степь выедем. Чуешь весну? – ласково проговорил он.

Вспорхнула и перелетела с балки на балку белогрудая ласточка.

Небогатое хозяйство у Андрея Ковалья – лошадь и свинья. Да и это нажил уже на Кубани.

Отец оставил ему в наследство пару лошадей и корову. Но случилась беда: дорогой на Кубань, у Перекопа, в одну из ночей лихие люди угнали коней. А беда не ходит в одиночку: не прошло и полгода – пала корова. Теперь все никак не может Андрей скопить денег, чтобы купить другую. Вот на прошлой неделе приторговал красную телку у Кравчины, пошел забирать, а тот передумал, не захотел продать. Теперь Коваль решил переждать до ярмарки, может, там попадется коровка по его деньгам.

– Дядько Андрий! А дядько! – позвал кто-то.

Коваль вышел из конюшни. У плетня стоял долговязый казачонок, дневаливший в станичном правлении.

– Что случилось?

– Дядько Андрий! Атаман кличет на сход!

– Добре, – кивнул Коваль.

– Только зараз, – уже уходя, предупредил дневальный.

Закрывая кузницу, Андрей думал: «С утра собирает, не иначе как землю юртовую переделывать будут... Послушаем, как они там рассудили».

Коваль пришел в правление самым последним. Впереди на длинных лавках расселись местные богатеи: Кравчина, одинокий дед Ляшенко, два брата Хмельницких да еще три-четыре таких же, как они.

Андрей протиснулся, встал у стенки, среди бедняков.

– Насчет земли? – спросил он у молодого казачка с перебитым носом.

Тот кивнул:

– Зараз будут нашего брата без ножа резать.

Земля войсковая по куреням расписана. Каждому юрту – своя. У бедноты пай невелик, да и тот зачастую тут же на сходе в аренду сдавали, потому что нечем было ту землю обрабатывать и траву на сено косить тоже не для кого...

Из-за стола, крытого потертым красным сукном, поднялся одетый в мундир хорунжего станичный атаман Прокофьевич. Все стихли. Атаман оперся вытянутыми руками о стол:

– Прошу вас, казаки, пока писарь, – тут Прокофьевич кивнул в сторону лысого станичного писаря, выводившего каракули на голубом листе, – пока писарь зробиет свое дило, выслушать поступившее прошение.

Атаман откашлялся:

– Обратился до нас крестьянин Орловской губернии Савелий Пахомов с просьбой приписать его в казаки нашей станицы.

Тут только Коваль заметил изможденного, одетого в серый домотканый армяк человека лет сорока.

Дед Ляшенко, опершись сучковатой палкой в подбородок, хрипло спросил:

– Крепак? – Его маленькие глаза сверлили крестьянина. – От барина втик?

Тот испуганно затряс головой:

– Не!

Кто-то ехидно бросил:

– Казак расейский!

Атаман, разгладив усы, прищурился:

– Я, панове, так думаю. Приписать мы его припишем, бо войско наше в людях превеликую нужду имеет. Да к тому же нашей станице осенью треба на кордон замену высылать. Вот нехай Савелий и послужит обществу. В благодарность, значит.

– Нехай! В час добрый! Хай послужит товариству! – одобрительно загудели казаки.

– А пока, – кивнул атаман в сторону одного из Хмельницких. – Василь Хомич не прочь взять его к себе на жительство.

Андрей с сочувствием посмотрел на покрасневшего от волнения крестьянина, подумал:

«От одного пана сбежал, а к двум новым попал. У Хмельницких снега зимой не выпросишь!»

Писарь протянул атаману исписанный лист.

– Ага, – одобрительно буркнул тот, – приступим к наделам.

– С богом, – загудели все.

– Кхм-кхм! – кашлянул в кулак атаман. – Так, значит, земли от дороги до Бейсужка и от Бейсужка до первых хат, всего двести десятин, – приходской церкви!

– Добре!

– За речкой и до могил, всего двести десятин, – мне, за службу, как атаману.

– Добре! – поспешили поддержать его богатые казаки.

– Нехай буде так! – недружно загудели остальные.

А атаман читал и читал. За его землей пошли наделы Ляшенко, Кравчины, братьев Хмельницких. Всем им достались ближние и большие пай, с лучшей землей и выпасами. У них, как объяснил атаман, у каждого заслуги перед войском.

Бедноте досталась земля верст за пятнадцать – двадцать от станицы.

– Богатому черти детей колышат, – проговорил стоявший рядом с Ковалем казачок.

Пай Андрея был на буграх. Знал он, что когда бывает засушливое лето, там не только пшеница, но и трава выгорает, ничего не растет.

Он не выдержал. Раздвинув плечом стоявших, пробрался к столу. Кулаки гневно сжались.

– Так как же это получается? Атаману да таким, как он, ближняя да лучшая земля, а нам, сироме, дальняя, худшая... – Глаза его зло сверкнули. – Им по две сотни пай, а нам считанные десятины? Земля войсковая, а делят ее без справедливости!

Все затихли. Дед Ляшенко приложил ладонь к уху. Один из братьев Хмельницких поднялся, вытянулся вперед. Кравчина от неожиданности открыл рот. А Коваль все выкрикивал:

– Богачам выпаса, а нам один будяк остается!

– А шо вам пасти? – перебили его.

– Они сами пасться будут! – хихикнул старший Хмельницкий.

Сход зашумел:

– Правильно Коваль каже! Жаловаться надо!

– Отписать обо всем войсковому начальству, пусть оно нас рассудит!

– Смутьян! – застучал палкой о землю дед Ляшенко.

А Кравчина, подскочив к Ковалю, ткнул ему кукиш, визгливо крикнул:

– А дулю тебе! Ишь, пановать думает!

Андрей взял его за шиворот.

– Уймись, кочет битый, – неожиданно спокойно пробасил он и, не торопясь, направился к дверям.

Глава IV

Май порадовал кубанскую степь первым теплым дождем. В молодую листву оделись деревья, в буйный рост пошла трава, и мрачные, серые курганы покрылись веселой зеленью. Ярким цветом расцвели воронцы, зажелтели иван-да-марья, а по речкам да низинам не по дням, а по часам поднимались сочный камыш да куга. Слышно было, как хмельно и сладко дышит кубанская степь, вековая целина, еще не тронутая сохой. Лишь кое-где распахали казаки крохотные латки-наделы, и на них зеленым бархатом пробились яровые.

Бледно-розовым цветом облиты в станицах яблони. Дурманящим ароматом напоминают казакам родную Украину.

Вот уже неделя, как вернулся из Петербурга Котляревский наказным атаманом. Впервые за все существование Черноморского казачества кошевой не избирался. Наказал царь быть атаманом войска Черноморского Котляревскому – и делу конец.

Роптали казаки, многие из старшин выражали недовольство, да против воли царской не смели идти...

Вернулся Котляревский в Екатеринодарскую крепость спокойный, властный, ходил твердым шагом, гордо вскинув красивую седеющую голову. И глядя на него, никто не поверил бы, что этот решительный, уверенный человек в Петербурге не скупился на поклоны и заискивающие улыбочки.

Прежде всего два бочонка лучшей зернистой икры были отправлены во дворец нового фаворита – сиятельного графа Аракчеева. Потом сам Котляревский явился к Аракчееву, преподнес временщику дорогую кавказскую шашку в серебряных ножнах и такой же кинжал.

– Такое оружие, ваше сиятельство, надлежит носить только вам, – изогнулся Котляревский.

Сказал – и испугался. Не пересолил ли? Не примет ли временщик его слова как намек на свое коварство и бездушие?

Но Аракчеев поглаживал прихотливый, тонкий узор на ножнах сабли, дышал на синеватый клинок и следил, как быстро исчезал след от дыхания.

– Благодарю, дорогой Тимофей Терентьевич, – проговорил временщик. – Прошу видеть во мне своего истинного друга и покровителя...

Через несколько дней Аракчеев представил Котляревского императору.

– Ваше Императорское величество, – отвесив низкий поклон, взволнованно проговорил Котляревский. – Войско Черноморское радо служить вам верой и правдой, не жалея живота своего. Казаки границу зорко стерегут и турка да иного басурманина храбро бьют во имя вашей славы и оружия Российского...

Маленький курносый человечек с надутым, недовольным лицом милостиво кивнул головой, и пудренная косичка, как крысиный хвостик, подпрыгнула на его парике.

Через два дня Котляревскому вручили всемилостивейший рескрипт о назначении его наказным атаманом войска верных черноморцев.

Исполнилась давнишняя мечта. Булава была в крепких руках Котляревского. Но вместе с булавой пришли к нему многочисленные заботы, тревоги, неприятности.

Вторую ночь наказного мучила бессонница. Тимофей Терентьевич ворочался с боку на бок, поглядывал в окно. Блеклый рассвет робко пробивался сквозь мутное стекло, в открытую дверь тянуло предутренней свежестью.

На всю комнату раздавался храп жены.

Котляревский со злостью толкнул ее.

– А, чтоб тебя лихоманка забрала! Рычишь, как лютей зверь!

Храп прекратился, но через минуту снова разнесся по комнате.

Еле дождавшись рассвета, Тимофей Терентьевич вскочил, натянул сапоги и, наскоро умывшись, не завтракая, отправился в правление.

Шел не торопясь, обходя опасные ямы, в которых и верховому было по стремя, держался у плетней.

Дорогой проверил крепостные караулы, нашумел на вестового казака, задремавшего на лавке у канцелярии.

Вскорости стали сходитьсь писари. Пришел хорунжий, старший по канцелярии. Вытащив из-под стопки бумаг исписанный лист, пробежал его глазами и, одернув мундир, направился к атаману. Вестовой успел шепнуть:

– Не в духах их превосходительство!

Скрип отворяемой двери оторвал Котляревского от окна.

– Тут жалоба на ваше имя от кореновских станичников, – протянул хорунжий плотный лист голубоватой бумаги. – Давно лежит. Без вас не смели разбираться.

– На кого жалуются?

– На атамана! Дележом земли недовольны. Да и об иных обидах пишут.

Взяв из рук хорунжего жалобу, Котляревский медленно изорвал ее в клочки, швырнул на пол.

Приезд Котляревского огорошил и напугал кореновского атамана. О жалобе бедноты он знал, но никогда не думал, что сам наказной приедет разбирать ее. Больше того, надеялся, что на жалобу в Екатеринодаре не обратят внимания.

Грозный вид Котляревского, казалось, не предвещал ничего хорошего.

– Слушайте, вы, горе-атаман! И как вы допустили, что всякая сволочь жалуется на вас, – едва переступив порог правления, принялся распекать наказной бледного, стоящего навывтяжку атамана.

Сбросив бурку на скамью, Котляревский ходил из угла в угол, нервно похрустывая пальцами. Время от времени он поглядывал воспаленными глазами во двор, где казаки конвойной сотни, обрызганные грязью, расседлывали лошадей. Понемногу вокруг них собирались станичники.

– Я... – попытался оправдываться атаман, но Котляревский оборвал его.

– Э-э, что «я», – сморщился он как от зубной боли. – Коли не можете согнуть в бараний рог казаков, то какой вы, к черту, атаман? Грамотеи среди казаков завелись! Соберите станичников на сход!

Через час в правление собралась вся станица. Каждому интересно было, что скажет новый войсковой атаман. Дождавшись тишины, Котляревский заговорил:

– Станичники! Почившая в бозе матушка-императрица послала нас на Кубань, чтобы мы верой и правдой служили престолу и отечеству, и за это жаловала она нас землей и лесом. Государь-император, посылая меня атаманом, наказывал, чтоб войско наше силу свою не теряло.

– Добре! – выкрикнул дед Ляшенко.

Котляревский покосился на него, продолжал.

– А в чем наша сила? Сила наша в том, что мы друг за дружку должны стоять! А вот до нас дошла жалоба ваших станичников – жалуются они на атамана. Наделами недовольны. Так, спрашиваю?

– Так! – нестройно выкрикнуло несколько голосов.

– А я считаю, что не так! Поделена земля правильно. Вот ты как считаешь? – ткнул он пальцем в Ляшенко.

– Правильно!

– А ты? – палец наказного остановился на Хмельницком.

– По законам! – пробасил тот.

– А вот как ты об этом думаешь? – обратился он к Кравчине, которого знал неплохо.

– Землю полюбовно делили.

– Брешете, хапуги вы! – выкрикнул кто-то из толпы.

– Что, что? – повысил голос наказной. – Кто это сказал?

Никто не отзывался.

– Я говорю еще раз, дележ земли, считаю, произведен по закону, – голос Котляревского стал резким. – Старшинам и справным казакам, у коих скота больше и кто заслуги перед войском имеет, законом определены большие земельные нарезы. А тем, кто будет смуту вносить, в нашем товаристве места нет. Гнать будем из своего войска! Вот и все, что я хотел вам сказать. А теперь можете идти. Кто чем недоволен – останься для разговора.

Нахлобучивая папахи, один за другим выходили станичники из правления, растекались кучками по улице, обсуждая слова наказного.

Казачок с перебитым носом говорил Ковалю:

– Нашли кому жаловаться. Черт черту око не выколет...

А в правлении остались только Котляревский, станичный атаман и Кравчина, которому наказной приказал задержаться.

– Ну вот, и жалобщиков нет. Все довольны, – потер руки Котляревский. – Теперь отдохнуть и в дорогу. Завтра еду в Усть-Лабу. Заночую у тебя, Григорий Дмитриевич. Не против?

Тимофей Терентьевич спал как никогда крепко. Пробудился он от того, что кто-то осторожно звенел посудой. Было уже светло. Через чуть приоткрытые веки наказной увидел молодую статную женщину.

«Жена Кравчины! – догадался Котляревский. – Анна, кажется».

Не открывая полностью глаз, наказной любовался красотой казачки.

«Ну и красавица! Королевна!»

Казачка кого-то напоминала атаману. Котляревский еще окинул ее взглядом и вдруг вспомнил. Лет двадцать тому назад, под Варшавой, судьба забросила его к одному польскому пану, у которого была красавица дочь, Людвиг.

«До чего же эта казачка похожа на Людвигу!» – подумал Котляревский.

Старое нахлынуло, резбередило душу...

«Людвиг-Анна... Анна-Людвиг», – мелькало в голове.

«Это не Людвиг, это Анна, жена Кравчины», – отгонял атаман навязчивую мысль.

А глаза атамана уже ощупывали казачку – всю, с ног до головы.

Анна обошла стол и стала совсем рядом с ним, складывая грязную посуду на большое глиняное блюдо.

– Анна, – тихо окликнул Котляревский.

Она вздрогнула, повернулась к нему.

– А Григорий Дмитрич дома?

– Ушел куда-то. – И тут же виновато добавила: – Разбудила я вас? Хотела тихо...

– Нет, Аннушка, я уже не сплю давно, тобой люблюсь. – Котляревский взял ее за руку, силой притянул к себе. – Сядь!

Анна неловко отталкивала его.

– Ой, что вы!

– Расскажи мне, отчего невеселая такая?

А цепкие руки уже клонили Анну к подушке.

– Пустите! – рванулась она.

Но он уже целовал ее губы, лицо, все шептал: «Анна, Анна-Людвиг»...

Они не заметили, как в приоткрытую дверь заглянуло искаженное гневом лицо Кравчины. Заглянуло и снова исчезло.

Анна не видела, как уезжал наказной, не слышала, как поздравил он хмурого Кравчину с производством в хорунжие.

Анна забилась в темном углу сарая, дала волю слезам.

В сарае едко пахло прелью, кони, отфыркиваясь, жевали овес, нетерпеливо перебирали копытами.

Анна лежала ничком. Плечи мелко вздрагивали. Она не слышала, как в сарай вошел Григорий, всматриваясь в темноту, и снял с колка связанные вчетверо ременные вожжи.

Бил он молча, с остервенением. Бил, пока она, обессиленная от боли и крика, не затихла в беспамятстве. Только тогда, повесив вожжи, вышел.

Анна очнулась от того, что кто-то горячим, шершавым языком лизал ей лицо. Не открывая глаз, протянула руку, погладила мохнатую спину собаки. Подумала: «Собака и та жалость имеет».

Пересиливая боль, со стоном села, провела ладонью по изорванной в клочья кофте. Рука стала липкой от крови. Попробовала прикрыть обнаженную грудь. Хотелось плакать, но слез не было. Вместо них накупала безнадежная, горькая ненависть.

Стиснув зубы, подползла к стене. Ухватившись за столб, поднялась. От боли потемнело в глазах. Рука нащупала вожжи. В голове мелькнуло: «Повеситься, чтоб не мучиться». Но тут же вдруг вспомнила Федора, вишневые зори над Кубанью.

Вспомнила на мгновение, и снова на душе пусто.

Отдернув руку от вожжей, она медленно, придерживаясь за стену, вышла во двор. От яркого солнца закрыла глаза, постояла и, шатаясь, как пьяная, пошла к колодцу.

Наклонившись над замшелой колодой, из которой поили скотину, она умылась холодной водой, напилась из бадьи и только после этого вошла в хату...

Глава V

Летом 1797 года возвращались черноморцы из персидского похода в родимые места. Неприветливо встретила их Кубань. Лето выдалось знойное, засушливое. Третий месяц не было дождя. Ночами гремел где-то вдалеке гром, полыхала молния, а днем ослепительно сияли чистое небо и знойное солнце. Земля просила влаги. Она покрывалась змеиными трещинами. Желтела, выгорала трава, дикие груши роняли невызревшие плоды.

Скот изнывал от бескормицы и зноя. Ночами в кошарах раздавалось жалобное блеяние.

«Не предаждь нас в руце сухости», – молились казаки, выгоняя по утрам коров и овец.

Но, видно, в то лето гневен был Бог на кубанскую землю. Пересыхали тихие степные речки, сладкий смрад стоял над лиманами от гниющей рыбы...

В первых числах августа миновали полки Усть-Лабу. Прошли крутым берегом Кубани, мимо Александровской крепости. Шли казаки, изнемогая от зноя, пропотелые и грязные. У многих на сумрачных, пыльных лицах струйки, пота проложили причудливые бороздки.

– А что, Федор, – окликнул Дикун Шмалько, – сдается мне, что не радо нам начальство. Никто не встречает, навроде мы проклятые.

Откуда было знать черноморцам, что еще в мае, когда Кордовский передал прибывшему из Петербурга Котляревскому письмо Чернышева, в котором тот писал о беспорядках на острове, вскипел новый атаман, строжайше повелел почет полкам при встрече не оказывать, а главных зачинщиков по возвращении арестовать и повести над ними дознание...

Дикун поддакнул.

– Сукин сын Чернышев, укатил поперед нас в Екатерино дар, верно, с доносом.

– Они с Котляревским за нас возьмутся.

– А ничего! Это не на Саре. Тут нас солдатами не запугают. – Дикун махнул рукой. – Хай им грец со всеми. Давай споем лучше, Осип.

О полеты, да полеты, черна галко
Да на Дон рыбу исты, —

тихо запел Дикун, а Осип басом подхватил:

Ой, принесы, да принесы, черна галко,
От Калныша висти!

К поющим присоединились Собакарь и Половой. Ефим, повесив на ружье свитку, шел, насвистывая. На вороном жеребце, обгоняя колонну, пропылил есаул Белый.

– Шо, пан есаул, парко? – насмешливо окликнул его Половой.

Белый бросил недобрый взгляд, хлестнул жеребца.

– Давай, давай, пыли! – крикнул вслед начальству Половой.

Поредели полки. Добрая половина казаков сложила головы на берегах Каспия. Не у одной матери выест горячая слеза очи.

Идут черноморцы оборванные, заросшие. Угрюмо смотрят по сторонам. Что может сулить казаку засуха?

Да и обокрали старшины казаков в походе. Казну войсковую переполовинили, провиант на сторону продали.

– Что-то мне сдается, что разойдутся казаки по куреням молчком и обид своих не выкажут, – заговорил Никита.

– Э, нет! Потребуем, чтоб нам наше вернули – деньги, провиант.

– Правильно, Дикун! Верно говоришь! – поддержало несколько казаков. – Если промолчим сейчас, то когда же свое потребуем? Под лежащий камень и вода не подтекает...

Шли Дикун и его товарищи и не чуяли, что почти в эти же часы в войсковом правлении уже решилась их судьба.

Прибывший в крепость двумя днями раньше Чернышев оговорил их перед начальством, и Кордовский, замещавший отбывшего на Тамань Котляревского, передал ему указание наказного при удобном случае арестовать возмутителей.

Андрей выехал на ярмарку с вечера. Лошадь шла неторопливо, и он не подгонял ее.

«Все одно к утру поспею», – думал Коваль.

Ярмарка открывалась у Екатеринодарской крепости.

В ящике, укрепленном позади хода, позванивали на ухабах косы-литовки да вилы – товар, изготовленный Андреем для продажи.

Над степью сгущались сумерки. Зажглись первые звезды. Андрей, разминая затекшие ноги, пошел рядом с ходом. Коренастый, широкоплечий, он шагал не торопясь, вразвалку, расстегнув ворот вышитой сорочки.

Катерино, Катерино,
Що ж ти наробила?
Степ широкий, край веселый,
Тай занастила! —

расстился его ровный голос в сонной тишине степи. Терпко и густо пахло иссушенными солнцем травами.

Тридцать девятое лето встречал Андрей. Семья у него – он да жена. Вместе пришли на Кубань, вместе заново и хозяйством начали обзаводиться. Вместе и радость и горе делили.

Трудились они не покладая рук. А достатка не было. Все больше в жизни горьких дней. Вот и в этот год, с того памятного схода, меньше стало у него работы. Забыли дорогу к его кузнице все станичные богатеи. Если что и требовалось сделать, возили в Усть-Лабу. А беднота, известно, плохие заказчики, бедняку кузница редко требуется. Но Коваль духом не упал, руки у него золотые. Наделал кос и вил, часть проезжему черкесу продал, а часть теперь на ярмарку вез.

Лунный свет матово разливался по выжженной степи, под ногами похрустывала сухая трава.

В те прошлые годы, когда не было злой засухи, степь шумела белой пеной ковыля, пестрела горошком да клевером. В высокой траве, укрывавшей подчас даже верхового, водилось видимо-невидимо разного зверя и птицы, даже кони дикие встречались. А теперь иной была степь...

Лошадь пошла рысью. Андрей навалился на доску, лёг на устланное сеном дно. Он знал, что хорошо изучившая дорогу лошадь не сойдет с пути и поэтому, спокойно глядя на звездное небо, на широкий Млечный Путь, продолжал думать.

«А ведь атаман при случае припомнит мне тот сход, – пришло на ум. Вспомнил вдруг Леонтия. – Где-то он сейчас? Да жив ли?»

На рассвете Екатеринодарская крепость огласилась многоязычным гомоном. В мягкую певучую речь малороссов вплетались гортанно-шипящие выкрики черкесов, привезших из-за Кубани на ярмарку лес, наборные пояса, кинжалы с насечкой, мед и пригнавших овец.

– Вот это ярмарка! Что в самих Черкассах! – воскликнул Андрей, когда лошадь, не погоняемая хозяином, остановилась рядом с гончаром, торгующим расписными макитрами.

Да и было чему удивляться! Тут и колеса разных размеров, и густой деготь в бочках, рядом, развешанные опытной рукой торговца, и чоботы из доброй юфты. В стороне выстроились мешки с кукурузой, привезенной из-за Кубани, висели венки лука и чеснока.

Андрей оставил телегу и, проталкиваясь сквозь толпу, первым делом отправился в скотный ряд.

Ржали пригнанные ногайцами кони, мычали коровы и телки, блеяли овцы.

Потолкался Коваль, приценился. «Может, и куплю», – подумал он, обходя со всех сторон годовалую телку.

Вышел из скотного ряда, пошел дальше!

У разложенных на прилавках монист и медных колечек толпились местные красавицы, в расшитых кофтах и широких в оборку юбках. Тут же парни, приехавшие со всей Кубани и забывшие о хозяйстве при виде темных глаз да длинных кос.

Черкес, купивший штуку сукна, дожидался товарища, азартно торговавшегося с купцом-московитом. Купец то откладывал свой железный аршин, то снова брался за него, и в эту минуту его проворные пальцы мотали ситец на аршин так, что, казалось, готовы были сделать из аршина материи целых два.

Рыбники вывесили тарань вяленую, балыки, рыбец да шемаю прошлогоднего засола. Неподалеку – чумацкие возы с солью. Круторогие волы лениво жуют сено. Два чумака прямо с воза цибарками отмеряют крупную грязновато-серую ачуевскую соль.

Шинкарь бойко торгует горилкой и немудреной закуской. Тут же, рядом с шинком, сморенный хмелем, спит богатырского сложения казак. Два других сидят рядом в обнимку и беседуют чуть ли не на всю ярмарку.

– А что мне жинка? – говорит один другому заплетающимся языком. – Чи я не казак?

– Через их, вражьих баб, и казак не казак! – басит другой.

Протиснувшись в людском потоке, Коваль подошел к крытой палатке, залюбовался цветастыми платками. Хозяин платков, черноусый и важный, упершись тугим животом в стойку, жаловался другому купцу:

– Думал этим летом в Нижний податься, да в губерниях беспокойно, мужики пошаливают.

И вдруг откуда-то донесся крик:

– Идут! Казаки с походу вертаются!

– Идут! Наши идут! – подхватили женские голоса. Народ с ярмарки хлынул навстречу казакам. Даже многие купцы покинули свои места.

– Казаки идут! Вернулись из похода!

Молчат колокола на войсковом соборе, не палят крепостные пушки. Словно старшины и не видят полки, возвращающиеся из тяжелого похода.

Запыленные, уставшие, подошли черноморцы к Екатеринодару, вступили в крепость. Услышав о возвращении казаков, сюда же на майдан, покинув ярмарку, спешили станичники. Отовсюду неслись дружеские приветствия, радостные восклицания:

– Василь! Ты ли это?

– А-а, кум!

– Здорово, сосед. Живой, здоровый?

– А що казаку зробится!

– Как там мои?

– Живут, хлеб не жуют, бо нет его.

– У меня там все живые?

– Придешь, посчитаешь!

Ряды расстроились, перемешались. Расспрашивали о жизни в станицах, и часто вместо ответа станичники отводили глаза в сторону.

За спиной Дикуну кто-то спросил:

– Что-сь Малого не вижу. Сгиб, что ли?

Федор обернулся. Вытянув шею, по толпе рыскал глазами Кравчина.

– Нет Леонтия, – ответил кто-то.

– Царство ему небесное... – Кравчина облегченно вздохнул.

У собора казаки выстроились по сотням. Чуть в стороне тесной кучкой стояли старшины с Чернышевым. К ним подошло несколько куренных атаманов.

Начался благодарственный молебен. Над притихшей площадью разносился сочный голос протоиерея, ему вторил бас дьякона. Федор размашисто крестился, а из головы не выходила Анна. Полтора года прошло. Это были тяжелые, трудные годы. Смерть все время стояла рядом. Все это время старался он не думать об Анне, выбросить ее из сердца. И, кажется, утихла боль. А увидел Кравчину, и снова заныла старая рана... И опять встает в памяти Анна, такая, как раньше была: улыбчивая, ясная.

Вспомнил, как после свадьбы Анны мать утешала его, как могла, подумал: «Надо поискать станичников на ярмарке, расспросить, как там она, старая!»

Очнулся Федор только когда протоиерей, заканчивая молебен, пропел:

– О здравии живых тебя, Господи, хвалим!

– Хвалим! – подхватили дьякон и хор.

– Царствие небесное убиенным и умершим!..

– Царствие небесное!

Высоко подняв крест, протоиерей Порохня осенил им казаков. Выступили вперед полковники, положили на крытый алым сукном стол перначи, свернули войсковое знамя. Расправив плечи, к строю приблизился Кордовский.

– Славные черноморцы! Вы исполнили свой долг, не нарушив присягу. – Полковник пожевал ус. – Своими подвигами вы еще раз покрыли знамя отцов наших славой и почетом. Государь вас не забудет. Он помнит о вас, о ваших подвигах ратных, о службе вере, царю и отечеству нашему...

– Речист пан полковник, – вполголоса проговорил Ефим.

Кто-то из казаков выкрикнул:

– А довольствие нам за службу отдадут?

Гул одобрения прокатился по площади. Лицо Кордовского передернулось.

– Господа есаулы, разводите казаков по куреням и станицам! – зычно скомандовал он.

– Как так? – разом закричали несколько человек. – Без довольствия?

– Не выйдет! Некуда нам идти! В хатах один ветер гуляет!

Строй нарушился. С криками казаки тесным кольцом окружили старшин.

– Дети наши голодные!

– Придем домой, а там есть нечего!

Чернышев, сверкая глазами, ухватился за саблю. Побледневший Кордовский уговаривал:

– Разойдитесь, панове-добродию! Разойдитесь! Не поднимайте шум!

– Не пойдем мы в курени, пока не удовольствуете нас!

Вперед пробрался Дикун, оглянулся на товарищей, снял шапку и поднял ее в вытянутой руке. Шум постепенно смолк.

– Казаки никуда не пойдут, – твердо проговорил Федор, глядя в глаза Кордовскому. – Пусть выйдет к нам его высокоблагородие Котляревский и выслушает наши жалобы.

– Смутьян! – рванулся к Дикуну Чернышев, вытаскивая из ножен клинок. Но чьи-то крепкие руки ухватили его, удержали.

– Опять пугаешь, полковник! Так мы пуганые. А с огнем не балуй. Пока добром просим, свое просим, – бросил Федор Чернышеву и, обращаясь к Кордовскому, продолжал: – Мы жить по-людски хотим, а нам они не дают, – и Дикун кивнул в сторону старшин и куренных атаманов.

– Верно балакаешь. Правильно! – поддержали его казаки.

Многие из них втыкали пики в землю, складывали мушкеты на вытоптанную траву.

Майдан задвигался, забурился. Казаки начали расходиться по широкой площади, располагаясь лагерем у собора. Заполыхали костры.

Кордовский, Чернышев, а за ними и другие старшины незаметно исчезли.

К Дикуну пробрался Собакарь.

– Ну и ну... Кашу заварили правильную. А вот расхлебаем ли ее?

Подшли Шмалько и Половой.

– Ишь как попервоначалу Кордовский мягко стлал, да жестко спать было бы, – пробасил Осип. – Стоило бы разойтись, поодиночке они нас за грудки взяли бы.

– Старшины, что те хорьки, – пояснил Ефим. – Хорек как залезет в курятник, так попервах зловонный дух выпустит, чтоб куры на сидали почуманели. А как почуманеют да попадают, то тут хорек и пьет их мозги...

– Самое главное теперь – стоять все за одного, – сказал Дикун. – Давайте, братья, пойдем сейчас по майдану да поговорим по душам с казаками!

– Правильно! – кивнул Собакарь. – Шоб, значит, все одной веревочкой были связаны. А народ нас поддержит, обязательно поддержит!

Эту ночь Федор спал тревожно, часто просыпался. Голову сверлила мысль: «Что делать дальше?» Не раз вспоминал Леонтия и вздыхал: «Вот кого не хватает».

Накануне казаки твердо решили стоять на своем и дружно добиваться, чтобы все полагающееся довольствие было выдано им сполна. Кое-кто заговаривал даже, что пора, мол, и земли кошевые поделить по справедливости. Но это были только отдельные, нестройные голоса.

Масса казаков встретила их одобрительно, но настороженно – уж слишком смелыми они казались.

А говорить с начальством, с наказным атаманом и старшинами казаки всем миром поручили Дикуну и Собакарю.

Небо светлело. Зазвонили к заутрене. Екатеринодар пробуждался. Звенели ведра у колодцев. Из огороженных плетнями дворов хозяйки выгоняли в стадо скотину. Пришел в движение и казацкий стан. За крепостным валом нарастал гул пробуждавшейся ярмарки.

Накинув на плечи свитку, Дикун направился туда, на ходу переговариваясь с казаками. Он обратил внимание на то, что в лагере, кроме участников похода, появилось много новых, пришедших.

Немолодой казак, сдвинув папаху на затылок, пел:

Ой, що там за шум учынявся,
Що комар та на муси оженився!

Выйдя за крепостные ворота, Федор сразу же окунулся в людскую толпу. Приехавшие из всех станиц казаки и закубанские черкесы, купцы и перекупщики торговались, толкались, шутливо переругивались. Дикун высматривал васюринцев – не терпелось узнать, как там дома.

– Эгей, Федька, – услышал он.

К нему проталкивался Терентий Тронь.

– Сосед, здоровый, вернулся? Не гадал, что встречу!

Терентий дружески хлопнул Федора по плечу.

– Как видишь, целый, – усмехнулся Дикун.

Они выбрались из толпы.

– Что дома? – спросил Дикун. – Мать как?

Тронь махнул рукой и отвернулся.

– Ты чего?

– Померла твоя мать... Еще зимой померла...

– Померла?

Тронь неловко топтался на месте.

– Померла. Померла, значит. С голодухи преставилась... Старая была. Наймичкой не нужна, только жрать.

Плечи Федора поникли, и весь он как-то обмяк. Только и проговорил:

– Прощевай, сосед!

– Постой, Федька! Ты, случаем, за службу грошей не получил? Там причитається с тебя за десять фунтов мучицы... Матери я как-то давал...

Федор, не глядя на Троня, бросил:

– Рассчитаюсь.

Не замечая больше ничего, Дикун повернул в крепость. «Мать, родная! – стучало в голове. – Наказывала, чтоб берег я себя, встречи хотела, ждала.

С голоду померла! А напротив атаман живет, Баляба проклятый. Что ж он, куска хлеба тебе пожалел? Батько мой за него жизнь отдал не жалея...»

Федору хотелось плакать – открыто, не стесняясь. По-ребячьи прижаться бы к родному плечу и выплакаться. Но никого близкого, родного у него не осталось на целом свете. Ни батьки, ни матери... Ни Анны...

И Федора охватывала ярость. Ему хотелось добраться до жирной шеи атамана Балябы, до его горла и давить, давить до того, пока остекленеют рачьи глаза и обмякнет жирное тело. А потом встретить Кравчину – и с ним сделать то же... Да и всех старшин, всех их – тоже передушить бы.

У войскового правления его окликнули Собакарь, Шмалько и еще два казака:

– Пойдем к Кордовскому! Думают ли они нам наше довольствие отдать?

– Что ты сумный такой, друже? – заботливо спросил Собакарь, пропуская вперед других.

– Мать померла... С голоду померла, – сдавленным голосом ответил Дикун.

Рука Собакаря легла на его плечо.

– Горькое горе, – вздохнул он, – что и казать. Да разве вернешь усопшую...

– Один я остался.

Никита нахмурился.

– Человек только тогда один остается, если его люди, как волка-одинца, от себя прогоняют.

Казаки вошли в правление.

У Кордовского сидели Чернышев и приехавший из станицы Степан Матвеевич Баляба.

При виде Балябы у Федора потемнело в глазах. Стараясь не смотреть на него, Дикун хрипло спросил:

– Пан полковник, когда отдадут нам наше довольствие?

Кордовский поднялся.

– Расходитесь по станицам, а довольствие выдадут позже!

Один из казаков с усмешкой протянул:

– Пока дождешься кныша, вылезет душа!

– Нет, пан полковник, ты не обещай, сейчас отдай. А еще требуем мы созвать круг. Недовольны мы своими старшинами и атаманами. По их вине в станицах бедноте всякие обиды чинятся. А Котляревский и бачить того не хочет. Навязали нам его в кошевые.

– Смутьян! Кто дал тебе право поносить его высокоблагородие? – ударил кулаком по столу Чернышев. – Тимофея Терентьевича сам государь назначил атаманом!

Федор шагнул к Чернышеву, оборвал:

– Твое дело телячье, полковник. Сиди и не рыпайся! И атамана нам никто не назначал. Брешете вы все. Сами вы Котляревского выдвинули, чтоб он вас покрывал! Идемте отсюда! – повернулся он к казакам. – У этих живодеров добром своего не возьмешь!

Казаки направились к двери. Уже с порога Осип обернулся, погрозил Чернышеву кулаком:

– Погоди, с тебя-то мы еще за все спросим. Не забыли, как ты купцам наш провиант продавал!

Чернышев густо покраснел, но заставил себя презрительно усмехнуться.

После обеда в непокорные полки приехал Кордовский. Припекало знойное полуденное солнце. Не слезая с коня, полковник выкрикнул:

– Ну? Все еще не расходитесь? – И подняв нагайку, пригрозил. – Смотрите, дождетесь!

– Хлопцы, смотри, какой храбрый, – делая удивленное лицо, проговорил Половой. – Перестань, полковник, брехать на ветер – ты же не наш кутько!

Лицо Кордовского налилось кровью.

– Пся кровь, – еле слышно прошептал он.

– А што, – подмигнув казакам, насмешливо продолжал Ефим. – Истинно брешет, как у моего деда кобель брехал. Тот тоже попервах не гавкал, откинет хвост и спит. Так дед взял и сунул ему под хвост горящее полено. Кобель как взвоят, да по двору, а хвост дымит. С того дня кобель денно и ночью на ветер брехал, точь-в-точь как зараз полковник.

– Хамы! Бунтовщики! – взорвался Кордовский и, подняв коня на дыбы, поскакал из крепости.

– Ого! – рассмеялись казаки. – Половой Кордовскому тоже под хвост полено сунул...

Наказной атаман Котляревский был в те дни на Тамани. Он проверял таманское укрепление, а на обратном пути собирался осмотреть крепость Копыл². По дороге в Копыл и разыскал атамана полковник Великий. Загнав двух лошадей, без конвоя, скакал он день и ночь.

Известие о бунте не на шутку встревожило Котляревского. Взяв полсотни казаков из укрепления и сопровождаемый конвойной сотней, он немедленно отбыл в Екатеринодар.

Покачиваясь на подушках мягкой рессорной тачанки, Котляревский думал о случившемся. На душе было тревожно: «Как отнесутся к этому в Петербурге?»

Худощавое, загорелое лицо Котляревского было угрюмо.

«Что же это? Ведь на старшин руку подняли! На власть! Казнить таких!»

Но он был твердо уверен, что достаточно его присутствия, и бунтовщики выдадут зачинщиков, покорятся. Не знал Котляревский, что весть о восстании полков уже донеслась до многих станиц, и голытьба поодиночке и отрядами спешила в Екатеринодар...

Остались позади низовья Кубани. Дорога пошла через плавни. По обеим сторонам стеной стоял камыш. Кое-где сквозь густые заросли еле заметные пролегали кабаньи тропы. Изредка открывались блюдца воды. Вот с одного из них поднялась стая гусей, гогоча, опустилась где-то в глубине камышей. В плавнях жизнь шла своим ходом. Царство диких птиц и зверей жило по своим извечным законам.

Казаки ехали осторожно. На границе особенно ухо надо держать остро. А зазеваешь, так обовьется вокруг шеи тугой аркан, продадут казака на галеры в далекую Туретчину...

Кони тревожно фыркнули, рванули построшки.

– Либо волка, либо человека почуюли, – встревожился Великий.

Он боязливо оглянулся на охрану. Полковник не доверял теперь и отборной атаманской сотне. Глаза пробежали по пригнувшимся к косматым гривам всадникам. Высокие папахи, мрачные, угрюмые лица. Ни улыбки, ни разговоры.

«С виду все хорошие, а кто их знает, что у них в головах? Может, и они такие же, как те?»

Миновали Ивановскую. По правую руку остался курган Дывна могила. На ее вершине маячил сторожевой казачий разъезд.

К обеду были в Марьянской. Тачанка остановилась у станичного правления – низкого здания с плохо выбеленными стенами.

– Сле-зай! Ослабь подпруги! – громким, зычным голосом подал команду есаул.

Котляревский прыгнул с тачанки и направился в правление. Оттуда уже спешил станичный атаман – дюжий, седоусый сотник. Одет атаман был в старый вылинявший малиновый кунтуш и синие шаровары. Битое оспой лицо стало тоже малиновым, чуб и седые усы вымокли от пота и обвисли. За ним шагали старики, распаренные жарой и хмельным чихирем, к которому они прикладывались, ожидая наказного.

Гулким басом атаман доложил, что в станице «все, слава богу, в порядке, только два десятка казаков и один урядник ушли в Катеринодар к смутьянам».

Лицо Котляревского передернулось. Он с раздражением взглянул на тронутый молю, пропотевший малиновый кунтуш атамана и почему-то подумал: «Должно, шарпанул этот кунтуш где-нибудь в панском имении, когда еще запорожцем был!»

Кивнув головой, наказной нахмурил брови и приказал побыстрее напоить коней, а людям поднести по чарке вина и мяса с хлебом. Сам отказался пройти на атаманское подворье, а пообедал, сидя в тачанке, жареной гусятиной. Неутомимо скрипел колодезный журавель. Казаки быстро заменили упряжку в тачанке.

И вскоре она уже была за станицей. За ней рысил на уставших лошадях конвой.

² На месте нынешнего города Славянска-на-Кубани.

Перевалило за полдень. Степь томила от зноя и казалась вымершей, только в белесой синеве трепетал неугомонный жаворонок, да иногда, сквозь глухой конский топот, раздавался жалобный крик перепела:

«Пить-пить!»

Издали показались вал и плетень Елизаветинского кордона. Котляревский велел ехать шагом, окликнул есаула:

– А ну, есаул, узнайте, что делается на кордоне.

Есаул молодецки поднес к папахе ладонь с повисшей на руке нагайкой, козырнул и, объехав тачанку, поскакал к кордону. Минут через десять он вернулся в сопровождении войскового старшины Гулика.

– Мокий Семенович! – обрадовался Котляревский, когда Гулик, соскочив с коня, грузно зашагал к остановившейся тачанке. – Как очутились здесь, какими судьбами?

Тот, горько улыбнувшись, передернул плечами.

– Вынужден был искать вас... – Старшина покрутил головой. – Ох, что там заварилось! Боже мой! Вчера целая толпа подступила к правлению. Ругательные слова кричали на всех старшин и на вас тоже. Оружием угрожали. А всех их подстрекали к тому Дикун, Собакарь, Шмалько и Половой. На беду, ярмарка сейчас, и многие казаки со смутьянами стали заодно.

Котляревский молчал.

Великий растерянно переводил взгляд с Гулика на Котляревского, с Котляревского на Гулика.

– В Екатеринодар вам ехать нельзя, объезжайте его стороной и направляйтесь в Усть-Лабу, – посоветовал Гулик. – Там генерал-майор Спет с Суздальским полком. С ним и приходите, чтоб сила была за плечами.

Котляревский отрицательно покачал головой.

– Нет, Мокий Семенович! Попробую уговорить... Плохо, коли в наши, казачьи, дела придется солдат впутывать.

О том, что происходит в Екатеринодаре, Котляревский понял еще у въезда в поселение. Ворота крепости были раскрыты настежь, и там бурлила беспокойная, шумная толпа. Встречные казаки шапок не снимали, по-волчьи сверлили недобрыми взглядами конвой.

Не заезжая домой, наказной направился прямо в крепость, где расположились восставшие полки.

– Подождите, – шептал он. – Это вам даром не пройдет!

Котляревский решил любой ценой погасить вспышку недовольства. Во всем случившемся винил он только Кордовского и полковников, ходивших в персидский поход. «Одни заворовались, меры не знали в своем сребролюбии, а другой гибкости не проявил. Надо было дать казакам хоть часть довольствия – и бунта бы не было, – думал Котляревский. – Пусть бы только разошлись по домам, а там всех зачинщиков поодиночке б взяли...»

Дробно постукивая копытами по сухой, как камень, дороге, кони внесли коляску в крепость и, не сбавляя хода, понеслись к майдану.

«Как себя вести с бунтовщиками? – размышлял наказной. – Обещать, что будет по-ихнему? Грозить? Эх, Головатого бы сюда! Умел старый лис с казаками говорить...»

Он представил себе, как поступил бы покойный Антон Андреевич на его месте. Конечно, он пришел бы к казакам один, без конвоя, невозмутимо посасывая старую люльку. Присел бы с казаками в тени, угостил бы их своим табачком, поговорил бы просто, душевно. Вспомнил бы совместные походы на Туретчину...

«Это был бы самый правильный способ справиться с бунтом!» – решил Котляревский.

Но не было у него умения запросто, дружески беседовать с простым народом, не было и желания понять нужды казаков-«холопов», «быдла», как он мысленно их называл.

У самой толпы ездовой осадил разгоряченных коней. Тачанку со всех сторон окружили казаки. Котляревский, не сходя на землю, встал, окинул толпу холодным властным взглядом.

– Чего вы хотите, казаки? Почему не расходитесь по хатам? Или не надоела вам походная жизнь? Или по семьям не соскучились?

– О чем заговорил! У нас, пан атаман, жизнь походная в печенках сидит! Да только за ту жизнь нам вместо спасибо дулю показали! – ответил за всех Ефим.

– Правильно Половой говорит. Отдай довольствие! – зашумела толпа.

– Довольствие вам сегодня же выдадут, и немедленно расходитесь по станицам!

– Ото добре! Так бы давно! – закричали остальные голоса.

– Э, нет! – Вперед пробился высокий казак с орлиным носом и черными усами. – Э, нет! – повторил он. – А ежели мы в походе не были, а не меньше ихнего настрадались, так кто ж наши обиды выслушает?

– Верно, Панасенко!

– Землю по справедливости делите!

– Леса всем поровну, а не только старшинам!

– Не разойдемсь! – ревела толпа.

– Добудем правду-матку, шо старшины ховают! Не уйдем, пока всего не добьемся!

– Тише! – поднял руку Котляревский. Шум постепенно затих. – Как я могу запомнить все, что вы кричите? Все по-хорошему на бумаге изложите и в правление подайте. Мы разберемся. – И не выдержал, повысил голос: – А вы добром расходитесь, чтобы худа не вышло!

– Не грози!

– Погоняй отсюда!

– Ты панские замашки брось!

Какой-то казак в драной свитке заложил два пальца в рот и свистнул так пронзительно, что испуганные кони чуть не выломали оглоблю.

– Пошел! – подтолкнул Котляревский казака ездового.

Кони с места перешли в рысь.

Едва коляска скрылась за куренными строениями, как кто-то из казаков выкрикнул:

– Письменно жалобу подать!

– А где Дикун?

– А вон они!

Один из казаков указал на протискивающихся сквозь толпу Федора, Осипа и Никиту.

– Где вы ходите? Тут Котляревский приезжал! Давайте жалобу писать! Грамотеи есть?

Откуда-то сбоку, от правления, вывернулся маленький, шуплый казак с чернильницей в руках.

– Жалобу так жалобу.

Он устроился на крыльце войскового правления, разложил бумагу, открыл чернильницу и почистил перо о свои спутанные рыжие патлы.

– Бумагу бы другую надо! – Казак-грамотей покачал головой. – Гербовую, орленую!

– И такая пойдет! Пиши!

– Жалоба атаману войска Черноморского от всех казаков, – вывел на бумаге добровольный писарь.

Кто-то добавил:

– От всех казаков, бывших и не бывших в походе!

– Дописываю! – Перо снова закрипело.

Со всех сторон посыпалось:

– Жалуемся на своих атаманов. Они незаконно нас на кордоны отправляют, а кой-кто откупается от службы!

– Довольствие за поход нам не выдали, а старшины и полковники провиант продали и деньги себе взяли!

– Не все сразу, не успеваю писать!

К писарю протиснулся Коваль.

– Пиши! Землю делят не по справедливости!

Не успел Андрей отойти в сторону, как другой казак уж подсказывал:

– Запиши: старшины лес рубят, а до нас только щепки долетают!

– Они суконные свитки носят, а мы задом светим!

– Пановали старшины и годи!

– Допиши! Хай прогонят всех атаманов, новых будем выбирать!

Пот мелкими каплями стекал по лицу писаря, он не успевал вытирать его.

– Кончил, господа казаки! – наконец проговорил он.

– Писал писака, а читать будет собака, – пошутил один из казаков.

– Кто жалобу вручит?

– Дикун и Шмалько!

– Да пусть скажут, что не разойдемся, куда жалоба без ответа будет!

– Верно! Бери бумагу, Дикун!

Котляревский встретил Дикуну и Шмалько сдержанно, холодно, но вежливо. Прочитал жалобу, повел плечами:

– Довольствие вам выдадут, а остальное в жалобе считаю написанным без основания. Так и передайте казакам. И еще, – он прошелся по канцелярии, – в последний раз говорю: добром расходитесь. А вам, Дикун и Шмалько, мой совет – вы первые начали смуту, вам первым и кончать ее...

Ни с чем вернулись на майдан Федор и Осип, передали ответ наказного.

Расшумелись еще больше казаки:

– Тут будем стоять, не разойдемся!

– Брешет, мы по справедливости жалуемся!..

– Душу из старшины вытрясем, а своего добьемся!..

На четырнадцатый день бунта Котляревский действовал решительно. Вызвав Кордовского, он приказал арестовать Дикуну и Шмалько.

Выполнять распоряжение атамана приказано было полковнику Чернышеву, майорам Чепеге и Еремееву, поручику Шелесту и прапорщикам Голеновскому и Аксентьеву. В помощь Чернышеву Котляревский с умыслом выбрал людей, присланных из Петербурга, казачеству не знакомых. Они, по мнению атамана, будут действовать смело. Чернышев пытался увильнуть от неприятного поручения, но Котляревский прикрикнул на него:

– Сами разозлили казаков своими неподобающими делами, а теперь за чужие спины хотите схорониться!

Шли молча, и только на майдане Аксентьев шепнул Голеновскому:

– Что-то нет у меня веры, что кончится это добром...

Уже перевалило за полдень. Многие казаки ушли на ярмарку, а большинство, разбившись на кучки, сидело в холодке.

Заметив вооруженных офицеров, казаки прекращали разговоры, поднимались, шли за ними. Шум на майдане стихал.

– С чем пожаловали? – спросил кто-то из толпы.

Ему никто не ответил.

Дождавшись, пока все утихнут, Чернышев вызвал:

– Дикун, Шмалько!

Раздвигая казаков, Федор и Осип подошли к полковнику. Глядя Чернышеву в глаза, Дикун спросил:

– Что скажешь, полковник?

Все замерли.

– За подстрекательство к бунту распоряжением атамана войска вы арестованы, – объявил полковник. – Взять их под караул.

Аксентьев и Шелест рванули из ножен шашки, стали по бокам арестованных. Казаки взволновались:

– Наших берут!

– Мало они пострадались!

Кто-то отчаянно, с надрывом выкрикнул:

– Бей старшин!

– Бей! – подхватили другие.

Толпа ринулась вперед. Подмяли Чепегу. Майор Еремеев потянул саблю, но Шмалько ударом кулака сбил его с ног. Еремеев, крикнув, мешком осел на землю. Шелест, пятась, отбивался шашкой от нападавших казаков. Кто-то, зайдя сбоку, ударил его тупым концом пики по голове. Шелест упал. Аксентьев успел нырнуть в войсковой собор.

– Гляньте, Чернышев-то! – крикнул Собакарь и погнался за убегающим полковником.

Тот был уже на ступеньках войскового правления, как Никита с силой ударил его пикой. Полковник, взмахнув руками, свалился на ступеньки. Кровь темным ручьем потекла вниз, впитываясь в горячую землю.

Прапорщик Голеновский успел запереться в караулке. В единственный оконный проем высунул ствол пищаля. Раздался выстрел.

Толпа отхлынула. Ствол скрылся, но сейчас же высунулся вновь.

– Там пищаля заряженные! – закричал кто-то.

Несколько казаков, зайдя со стороны, нажали на дверь. Сбитая из толстых дубовых досок, она не поддавалась.

– Смотрите, как откроется, он в вас и выпалит, – снова раздался предупреждающий голос.

– Слушай! – закричали казаки. – Выходи подобру, лучше будет!

Голеновский не отозвался.

Казаки начали совещаться.

– Запалить его! – предложил кто-то.

– Верно! – подхватило несколько голосов.

Все бросились за камышом, сложенным невдалеке.

Их остановил Собакарь.

– Сушь такая, все пожаром пойдет!

Посмотрев в сторону караулки, Дикун проговорил:

– А мы его, такого-сякого, попробуем по-другому.

Незаметно для Голеновского он прокрался вдоль вала к караулке и затаился за углом. Бесшумно, шаг за шагом продвигался Федор к окну. Казаки наблюдали за ним. Голеновский, видимо, тоже догадывался, что нападавшие что-то замышляют. Ствол пищаля беспокойно поворачивался то в одну сторону, то в другую, нащупывая цель. Когда до окна осталось не больше шага, Дикун прыгнул и с силой рванул обеими руками за ствол. Грянул выстрел, и выдернутая из рук Голеновского пищаля отлетела в сторону. Не давая прапорщику опомниться, Федор прыгнул в окно и своим телом вышиб тяжелую раму. Сбив Голеновского с ног, он виском ударился о дубовую стойку нар. В голове зазвенело. Хрипло выкрикивая ругательства, прапорщик потянулся к пищаля. Но в окне показались еще два казака. Один из них открыл дверь. Ворвавшаяся толпа вытащила Голеновского из караулки и, раскачав, бросила на поднятые пики.

– Котляревского! Идем к Котляревскому! – выкрикнул Дикун.

И казаки хлынули в правление. Но атамана там уже не было.

– Идемте к нему до дому! Поглядим, как живет пан наказной! Пусть гостей принимает! – И толпа, выкатившись из крепости, обрастая по пути казаками, приехавшими на ярмарку, устремилась к дому наказного.

Затрещали выбитые ворота, гомон наполнил двор. Зазвенели стекла. Казаки обыскали все подворье, но Котляревского нигде не было. Не нашли никого и из семьи атамана.

– Дэ ж он, бисов сын?

– Да чего вы его тут шукаете! Тут же его нэма! – крикнул кто-то из вновь вбежавших во двор.

– А ты шо, Андрий, знаешь, дэ атаман?

– Втик! Сам видел... С ним Кордовский и Баляба.

– От так атаман! Шо кот шкодливый.

– Какой он к черту атаман. Он мне такой атаман, как тебе султан турецкий батько!

– А ну, ходимте на круг! Кошевого и старшин себе выберем! – предложил один из казаков.

– На круг! – и толпа устремилась в крепость.

Заполнив майдан, стуча об землю пиками и пищалями, стали казаки кругом, как стояли еще деда их на Сечи, закричали:

– Кого кошевым выберемо?

Несколько казаков выкрикнуло:

– Дикуна! Дикуна!

– Молодой еще! – заартачились станичники. – Не желаем! Чуприну кошевым!

– Не хотим Чуприну! – закричали другие казаки. – Дикуна хотим!

– Чуприну!

– Дикуна!

Выбрав время, когда толпа на какую-то минуту приумолкла, Собакарь предложил:

– Ни того, ни другого! Повременим с кошевым. Дело терпит!

Толпа опять зашумела.

– Правильно! Зачем нам кошевой!

– Та хибя ж не знаешь? Нашему Луки и черт с руки!

Казаки рассмеялись. Кто-то снова выкрикнул.

– Собакарь дело сказал. Пока повременим с кошевым!

– Давайте тильки старшин выберемо!

– Ладно, хай будет по-вашему!

– Дикуна войсковым есаулом!

– Оце добре, по его зубам!

– А он шо, тебя кусал?

– Войсковым есаулом Федора! – дружно поддержали все. – Пусть командует до кошевого над нами!

– Доверяем!

– Шмалько войсковым пушкарем! Он пушкарь добрый!

– Согласны!

– А кого полковником на меновой двор?

– Как кого? Собакаря! Справедливей его неду!

– А соль не пропьет?

– Та нет, он горилки в рот не берет.

– Пока не подносят.

– Собакаря полковником! Собакаря!

- Какого черта новые старшины в круг не выходят?
- Выходите в круг! Кажитесь товариству!

Когда вновь избранные старшины, скинув шапки, вышли в круг и, кланяясь на все стороны, стали благодарить за доверие, какой-то старый казак набирал пригоршни пыли и посыпал им головы.

– Так, так, – смеялась толпа, – хай не зазнаются, а то разом скинем... Хай помнят запорожский обычай!

Неподалеку от дороги, ведущей из Екатеринодара на Кореновскую, расположен один из хуторов полковника Кордовского. Сколько ни окидывай взглядом широкую степь – кругом земли пана полковника: тридцать десятин под яровыми, а все остальное – выпасы. Для такого хозяйства выпасов много требуется. Лошадей у наказного больше сотни пар, коров три десятка, отара овец да полторы сотни ульев...

На хуторе, кроме управляющего и старого пасечника, пять работников. С ними вместе живет и Митрий. Так и приписали его под этим именем в войске.

За два года узнал Митрий жизнь казачью, осмелел, исчезла прежняя робость, с которой стоял когда-то перед Степаном Матвеевичем.

Известие о бунте дошло до хутора не сразу. Рассказали о нем возвращавшиеся с ярмарки казачки. Ехали они в станицу без мужей.

– Мы чоловиков там оставили, годи им за спидници держаться.

Как-то в полдень, укрывшись под навесом, Митрий чинил сбрую. Кожа воняла дегтем и конским потом. Она была твердой, как железо, и швайка с трудом прокалывала ее.

На хуторе в этот час находились управляющий, пасечник да Митрий. Остальные работники были в степи.

Под навес пришел дед пасечник – маленький, щуплый, в соломенном бриле. Присел рядом и, глядя в пыльную степь, стал жаловаться на засуху, на плохой взяток.

– Не с чего моим кормилицам сладкий сок брать, все цветики сохнут, – вздыхал дед. – Прямо беда!

– И как ты, дед Афанасий, пчел не боишься? Старый пасечник добродушно рассмеялся:

– А чего их бояться? Пчела доброго человека не тронет. А кто к улью со злой думкой идет, того она духом чует... Пчела тварь божья... – Старик пожевал беззубым ртом и продолжал: – Рассказывал мне еще мой дед такую присказку. Поспорили раз лошадь, бык и корова, кто из них больше трудится? Каждый говорит – «я». И решили они: «Пусть будет судьей сам Господь». Пошли к богу. Выслушал он их и так отвечает: «Больше маленькой пчелы никто не трудится. Вас человек кормит, а она и себе пропитание добывает и человеку дает». Вот она какая, эта самая пчелка!

Откуда-то из степи, в облаке пыли, вынырнуло десятка два конных казаков.

– Эй, дедусь, у вас воды напиться можно? – спросил бойкий казачок.

– Пейте! Вода в колодце не меряная.

Старик, а за ним и Митрий подошли к казакам. Спешившись, они по очереди подходили к бадье. Кони жадно тянулись к колоде с водой. Из хаты вышел управляющий.

– Куда путь-дорогу держите?

Тот же казачок, что просил напиться, отер рукавом потрескавшиеся губы, ответил:

– Чи разве не слышали, какую кутерьму подняли казаки, которые из похода вернулись? Ось и мы к ним до гурта едем...

– Гуртом и батьку добре бить, – подсказал пасечник.

– А у нас, дедусь, батьки нет. Чи Котляревский и наши куренные нам батьки? Они с нас шкуру дерут. От мы теперь и едем правду добуваты.

– Ну, коли вы за правду, то дай вам бог удачи... Был бы и я помоложе, тоже б с вами пошел.

– Не тужи, дедусь, мы и без тебя не сплюшаем. Есть у нас в руках сабли.

– А ты вроде не старей, а чего тут, в степу, огинаешься? – спросил Митрия один из казаков. – Или, может, своей жизнью доволен? Или не казак?

Несколько человек обернулись к Митрию.

– Нет, уже казак, – хмуро ответил он.

– Три дня без году, – ехидно хихикнул управляющий. Митрий метнул на него косой взгляд и, вздохнув, пошел под навес.

– Шо на человека лаешь, як пес? За что его обидел? – напали на управляющего казаки. – Душа твоя холопская!

Управляющий торопливо скрылся в хате. Казаки сели на коней.

– Прощай, дедусь!

– Эй, парень! – крикнул Митрию казачок с перебитым носом. – Надумаешь, приходи до нашего табора! – И, стегнув коней, казаки зарысили по дороге на Екатеринодар...

Митрий долго сидел под навесом, задумчиво глядя на колышущуюся в знойном мареве степную даль. Воля! Сколько лет он мечтал о ней, мечтал о свободной, вольной земле. И что же? Тут тоже вольная волюшка закована в тяжкие цепи. И здесь люди маются в тяжелом труде, добывая себе кусок горького хлеба, а богатеи их трудом набивают себе кошелек.

Может быть, только теперь выйдет воля-волюшка на свет белый, сбросит оковы, даст людям счастливую долю...

Над ухом вдруг раздался резкий голос управляющего:

– Чего ж это ты, казак москальский, баклуши бьешь? Иль в паны вышел? Да я тебя, басурмана такого...

Митрий поднял мрачное, задумчивое лицо.

– Почто лаешься?

– Почто, почто! Да я тебе сейчас, матери твоей черт, как поднесу!

Словно какая-то посторонняя сила вдруг подняла Митрия с земли и толкнула к управляющему. Костлявый кулак словно сам собой ткнулся в птичье, остроносое лицо атаманского прислужника. Тот отлетел в сторону и шлепнулся в горячую дорожную пыль...

В этом ударе Митрий излил всю свою обиду, весь гнев.

– Пошел вон, барский кобелина! Скройся с глаз, пока живой! – зычным голосом крикнул Митрий.

Управляющий торопливо скрылся в своей хате, вытирая рукавом окровавленное лицо.

В тот же вечер Митрий оседлал панского коня и ускакал в Екатеринодар.

Старые дубы, омытые прошедшим к вечеру коротким ливнем, таинственно шелестели листвою. Дождь смыл кровь у войскового правления. Неожиданно налетевшая гроза на время разогнала ярмарку.

После дождя Дикун долго сидел под развесистым дубом, вслушиваясь в неясные шорохи его листвы. Сейчас он впервые почувствовал, какую большую ответственность несет перед казаками, доверившими ему командование ими. Он понимал, что старшины не смиряются с тем, что народ хочет установить свой порядок. Предстояла борьба упорная, жестокая.

«А что делать с теми старшинами и атаманами, которые остались здесь? Расправиться с ними? А не хуже ли будет? Тогда все богатеи уйдут к Котляревскому, увеличат его силу».

Дикун не сомневался, что Котляревский вернется в Екатеринодар.

Ночью Федору чудные сны снились. Вот они с матерью сажают деревья в саду... Рядом Баляба... Откуда ни возьмись, батко идет, высокий, плечистый. Смотрит он с удивлением на мать и говорит: «Так мне ж сказали, что ты померла! – А потом поворотился к Балябе и с укором: – А еще другом назывался...»

Проснулся Федор, когда чуть-чуть начало светлеть.

«Так! Раз замахнулся – надо бить», – решил он.

Как только рассвело, Дикун, по совету Собакаря, вывел восставшие полки из крепости и расположил их лагерем у кладбища.

– Так будет надежней, – сказал Никита. – Тут нас при случае станичники поддержат, да и вся гольтьба, что на ярмарке, на нашей стороне.

А ярмарка с каждым днем становилась все многочисленней. В лагерь один за другим подходили станичники. Шли они сюда не шутки ради, не для праздного любопытства. Придя, спрашивали:

– Где тут у вас самый главный?

И получив ответ, направлялись к Дикуну.

– Приймай, атаман, до своего войска, бо дуже я на свою жизнь недоволен. Ось тут у меня сидят наши старшины да подстаршинники³.

Федор распределял их по куреням. Попал в один из куреней и бывший крепостной Митрий...

Ночью на обрывистом берегу Кубани состоялось совещание главарей бунта. Тут не было ни генералов, ни полковников, не было и старшин. Здесь, на траве, по-турецки поджав ноги, при ясном свете луны сидели люди в изношенных свитках, с тяжелыми, мозолистыми руками. Привел сюда Федор и Митрия. Среди вожаков мало было тех, кто ходил в поход на Каспий, – Дикун, Шмалько, Собакарь да Половой. Остальные были посланцы станичной бедноты, прикнувшей к смуте.

Говорили негромко, с уверенностью.

– Казаки не подведут, – басил Осип, – они дуже злые.

– Кубань вся за нас будет, – заверил седоусый казак Чуприна, служивший с Дикуну еще на кордоне.

Федор слушал, не перебивая. Неожиданно Митрий вставил:

– Кубань-то дело хорошее, да одной ей не продержаться. – Все насторожились. Митрий продолжал: – У царя солдат много, а казаков одних – что, тьфу! – Он сплюнул.

Собакарь вспыхнул.

– Ты что же, собачий сын, сам в казаки приписался, а нас поносишь?

Митрий спокойно возразил:

– Душно тут у вас. К нам идти надо. В губерниях крестьяне бунтуют, они нам подмога. А здесь пропадем мы пропадом.

– Экий ты, Митрий, горячий, охолонь трошки! – спокойно возразил Дикун. – Дай бог у себя дома управиться, а там видно будет. Чего загоя шкуру медведя делить...

– В своем приходе намолимся, а потом в чужой приход пойдем, – поддакнул Ефим.

Замолчали. От гор повеяло прохладой. Где-то далеко за Кубанью мерцал, вспыхивая и затухая, костер. Темной стеной смутно рисовался лес, почти вплотную подступающий к крепости.

– Осип! – нарушил молчание Дикун. – Пушки и порох в порядке держи, наготове... Всего можно ждать...

– Это верно! – поддержали все.

– А на вас, станичники, – обратился Федор к казакам, – вся наша надежда. Большое мы дело начали. Надумали мы скинуть своих атаманов и старшин, своих выбрать. Чтоб наше казачество вольным было. Чтоб была у нас своя, вольная казацкая Кубанская Сечь. А для этого должны мы немедля ехать каждый по своим станицам, народ созывать, атаманов скидывать да спешить сюда на помощь.

³ Так называли на Кубани зажиточную часть казачества.

– Як пробудяться черноморцы, – поддержал Собакарь, – то там и донцы за оружие возьмутся. Они еще от прошлого не остыли⁴.

Он встал. За ним поднялись и другие.

– Поклянемся, други, что крепко будем вместе держаться... – предложил Дикун.

И раскатилось над Кубанью:

– Клянемся!

Глава VI

Солнце, разорвав облачную дымку над буйной Кубанью, разбудило пестрый лагерь казаков. Лучи его пробежали по возам с поклажей, опоясавшим по старому казацкому обычаю весь стан. Расправив широкие плечи, поднялся Шмалько. Он положил мешок на воз, потом нагнулся, растолкал Полового.

– Ефим, подбери брюхо. Ишь, выкохал его, как у доброго кабана.

Ефим протер глаза, сел.

– Што за чертовщина приснилась мне, Осип? Ну, прямо, тьфу! Вроде подошел до меня козел и бодает...

– Ну?

– Ось тоби и ну. А у того козла, Осип, знаешь, чья была голова?

– Чья?

– Твоя!

– Тьфу! Были б у меня рога, я бы тебя так боднул, чтоб твое дурное сало из пуза вылезло, – смеялся Осип.

Они спустились к Кубани, умылись. Вытираясь рукавом свитки, Шмалько спросил:

– Ты думаешь, Котляревский оставит так все это? Он, вражий сын, наведет сюда солдат, попомнишь меня.

– Солдат хуже черта, – вставил Ефим. – То еще мой дед казал. Раз ночью почудилось мне, што черт под окном. Кричу: «Дед, черт в хату лезет!» А он мне: «Не замай, абы не солдат!»

Подошел Митрий с незнакомым казаком. Под левым глазом у казака разлился огромный синяк.

– Это ж кто тебя угостил, станичник? – поинтересовался Шмалько.

– Атаман на прощанье.

Казаки им рассказали:

– Незамаевцев я привел. Скинули мы своего атамана. Так он со схода и домой не заходил, сбежал.

– Добре! Добре! – кивнул Половой. – Только погано, што атамана упустили. Надо было его киями напоследок пощекотать. Ну да ничего, он далеко не уйдет, когда-то поймается...

– А где Дикун? – спросил казак.

Шмалько развел руками:

– Если не в лагере, так, значит, в крепости. Вчера весь день полки в порядок приводил.

– Эх, с такой силой да к нам, в Расею! – Митрий прищурился. – Вот бы ударили по барам-господам!

– А на шо она нам, эта Расея? Хай она само по себе, а мы сами по себе...

– Горазд ты, Ефим, баять! А хлебушек расейский жуешь!

– Так то хлеб...

Переговариваясь, они пришли в лагерь. Горели костры, в подвешенных казанах варилась каша. Тысячи людей толпились возле костров, спали, шумели, разговаривали. Прислонившись

⁴ Собакарь имел в виду восстание донцов 1792–1794 гг., в связи с переселением 12 донских полков на Кубань.

спиной к колесу, пожилой длинноусый казак зашивал разорванную штанину. Другой, в стороне, точил саблю, раз за разом пробуя ее острие на огрубевшем ногте.

Посреди лагеря белела палатка. В ней Шмалько и Половой застали Дикуну и еще нескольких казаков. Густой синий дым от самосада застилал палатку.

– Думаем дня через четыре пустить сотни три по станицам, – пояснил им Федор. – Хай наших атаманов кругом ставят, а тех, кто сопротивляться будет, сюда гонят.

Неожиданно Дикун смолк, насторожился. Послышались крики. И вдруг весь лагерь загудел, словно встревоженный улей.

Поспешно поднявшись, Федор вышел из палатки. За ним последовали и другие.

– Вон, вон, смотрите! – кричали казаки.

Теперь уже ясно было видно, что к лагерю шел большой отряд. В степи клубилось быстро приближающееся облако пыли.

– Сдви-нуть во-зы! – громко, зычно крикнул Дикун. – Приготовить пищали! – Он повернулся к Осипу. – Бери коня и скачи в крепость. Оттуда пушками поддержишь!

Пушкари вскочили на первых попавшихся коней и помчались к крепостным воротам. Бывалые казаки быстро сдвинули возы, соорудив из них сплошную стену. Шумливый лагерь был готов к бою. Нависла напряженная тишина.

– Что это за войско? Не похоже оно на драгун! – размышлял Собакарь. – Если против нас, так что-то мало их...

– Они, Никита, в пыли растаяли, – пошутил Ефим, поудобнее пристраивая пищаль.

– Може, это вражий дозор? – высказал предположение Дикун. – А следом и другие появятся...

– Кто его знает, – пожал плечами Собакарь. – А все-таки это не драгуны! Вглядишься лучше, Федор, посадка не драгунская, на седлах не приседают...

Дикун присмотрелся.

– Правду говоришь.

– А может, это к нам из станиц помощь идет?

– Не может быть! Они из-за Кубани идут, от переправы...

Видимо, подходившие догадались, что им готовится недобрая встреча, отряд остановился. Облако пыли закрутилось на месте. Из него вырвался одинокий всадник на вороном резвом скакуне и, размахивая шапкой, поскакал к лагерю. Красные шаровары и желтый кафтан пестрели на ярком солнце.

– Кызылбашская одежда! – проговорил Собакарь.

– Да это ж Леонтий! – неожиданно вскрикнул Дикун. – Леонтий Малов! А ну, – повернулся он к Ефиму. – Готовь, такой-сякой, горилку, гулять будем! Раздвигай возы!

Малов подскакал к лагерю, прямо с коня прыгнул на телеги и, соскочив на землю, обнял Дикуну.

И загуляли черноморцы. Прорвалась казацкая душа, забурлила, расплескала буйную удаль.

Вначале пошла в ход астаринская добыча. Цветные персидские шелка, хоросанские кинжалы, бирюзовые бусы, дорогие морские камни-лалы быстро перекочевали от казаков к услужливым шинкарям. Потом потащили казаки в шинки все, что можно было раздобыть на подворьях бежавшей старшины. В доме Котляревского даже рамы из окон выломали и продали каким-то хуторским хозяевам.

А затем, когда и добро старшин было пропито, разгромили казаки все шинки, побили шинкарей и завладели запасами вина. И снова на всех углах валялись пьяные. По улицам скакали одуревшие от сивухи всадники, еле державшиеся в седлах. Как-то над крепостью и лаге-

рем вдруг заухали пушки. Все, кто только мог, схватились за оружие. Дикун, Малов и Собакарь выскочили из палатки, где они доканчивали ведро горилки.

Стреляли крепостные пушки. Одно ядро снесло крышу с хаты вдовой казачки Явдохи, второе запрыгало по огороду, раскидывая капустные вилки.

– Да шо ж воны роблють! – разъярился Дикун. – Чи зовсим с глузду зыхалы!

Вскочив на коней, все трое поскакали в крепость. А выстрелы все гремели. Ядра неслись через хаты, падали в огороды, шипели в темных водах Карасуна.

– Стой! Бросай стрелять! – что есть мочи закричал Дикун, осадив лошадь около пушкарей. – Куда палите?

Немолодой пушкарь, до пояса голый, с жирной, вымазанной копотью грудью, нетвердо держась на ногах, обернулся к Дикуну.

– А т-ты х-кто такой будешь? – взревел он, размахивая горящим фитилем.

– От zenки залил, ничего не бачит, – захохотали более трезвые казаки.

– Дядько Степан! Да цэ ж сам Котляревский со своими есаулами, – пошутил кто-то.

– Кот-ля-рев-ский?! – взъярился пушкарь. – А ну, хлопцы, вертай пушку, я его стрельну. Он навалился на пушку и, не удержавшись на ногах, ткнулся носом в пыль.

– В кого палили? – гневно крикнул Дикун.

Казаки присмирели и пояснили, что пушкарь дядько Степан поспорил с одним из казаков. Пушкарь пообещал с десяти выстрелов развалить дом наказного атамана.

– Пора кончать гулянку! Не то своих побьем, а ворог нас голыми руками возьмет! – хмуро проговорил Собакарь.

– Пора! – кивнул головой Малов. – Как это еще всех нас пьяными в цепи не заковали!

Дикун развел руками.

– Тут моя промашка...

Немного погодя казаки, те кто потрезвее, со смехом волокли своих пьяных товарищей к Кубани. Там, смыв с себя хмель в бурных холодных водах, они принялись устраивать для пьяных «иордань». Два дюжих казака брали пьяного за руки и ноги, втаскивали в воду и окунали его до тех пор, пока он не приходил в чувство.

На берегу, возле «иордани», толпились казаки, казачки, ребятишки, от души наслаждаясь веселым зрелищем.

На следующий день в казачьем лагере было тише, чем обычно, так как чуть ли не половина казаков мучалась злым похмельем. Вечером к Дикуну прибежали с жалобами женщины: неизвестные казаки залезли к ним в погреб и выпили весь огуречный рассол...

По всем дорогам были посланы конные разъезды. В крепости, у пушек, дежурили хмурые, неразговорчивые казаки.

– Ну вот теперь у нас – военный лагерь, любого врага встретить можем! – сказал Дикуну Малов.

Федор кивнул головой.

– Расскажи нам, друг Леонтий, где ты побывал, что повидал? – попросил он. – А то как ушел из-под Баку, так точно в воду канул...

– Что ж! Можно и рассказать! – согласился Малов.

– Нашел ты Рыжупу? – поинтересовался Собакарь.

– А вот слушай! В ту ночь, как рассердился я на тебя, Федор, ушли мы, – начал свой рассказ Леонтий. – Днем по лесам да по горам прятались, погони опасались, а ночью шли и шли... Ели дички в лесу, голодали. А как отошли от Баку – стали в селения заходить. Народ там душевный, гостей любят. Советовали нам князьям и их людям на глаза не попадаться. Схватили бы – и в Турцию либо в Персию продали. Долго блуждали мы, а в Грузию все-таки пробрались. Искали, искали атамана Рыжупу, да нигде такого нет...

Леонтий замолк, окинул быстрым взором широко раскинувшийся лагерь, удовлетворенно улыбнулся. Это были уже не два полка, поредевших в персидском походе, а большая сила. Две с половиной тысячи черноморцев поднялись на защиту своих прав. Как к полноводной реке бегут ее притоки, так и в лагерь к повстанцам из всех станиц стекалась казачья голытьба.

И Леонтий продолжал:

– Сбрехали чумаки, нет никакого Рыжупы. А много людей счастливое царство ищет. Дня не проходило, чтобы одного-двух не встречали. Кое-кто к нам в товарищи шел. Скоро мы и хорониться перестали, а первые на кызылбашские отряды налетали. Оружием обзавелись, конями. И решили мы подаваться на Кубань. Шли мы горами, через чеченские аулы. Проходили и станицами терскими. Увидели, как и там казаки живут. К нам тогда многие пристали. Пока сюда дошли, войско целое собралось, почти пять сотен... На жизнь людскую насмотрелся я. Всякую повидал. Только счастливое царства не нашел. Везде есть кровопийцы, как и у нас... Не думал я, что вы тут за оружие взялись. Вот теперь и на Волгу пойдем, а там по правую руку уральцы, по левую донцы да украинская голытьба. Крестьян поднимем, Москву тряхнем, а там и до Петербурга достанем!

– Верно! – обрадовался Митрий. – И я об этом самом речь вел.

– На кой нам эта самая Расея? – пытался возражать Шмалько. – У нас и на Кубани дела хватит...

Но Дикун крепко задумался. В словах Леонтия он чувствовал правду – чем больше людей примкнет к их делу, тем ближе победа.

А среди его друзей разгорался ожесточенный спор. Леонтий и Митрий настаивали, что надо идти на Волгу, Шмалько и Половой возражали. Собакарь колебался.

Федор молчал. Потом затынул вполголоса:

Зибралыся вся бурлаки,
Ой, до ридной хаты.

Друзья подхватили:

Тут нам любо, тут нам мило
Писню заспиваты!

Тревога охватила генерал-майора фон Спета, когда дошло до него известие о восстании в Екатеринодаре. А когда к нему, в Усть-Лабинскую, прискакали Котляревский со старшинами, Спет испугался не на шутку. По размаху движения ему было ясно, что одним Суздальским полком, расквартированным в Усть-Лабинской, справиться с бунтовщиками невозможно.

Станица Усть-Лабинская – левый фланг черноморцев. Дальше вверх по Кубани – станицы, населенные донцами.

Спет справедливо опасался, что вслед за черноморцами поднимутся и донцы. В Астрахань к генерал-аншефу Гудовичу, командующему кавказскими войсками, один за другим поскакали курьеры.

А куда ответ еще не пришел, генерал велел усилить сторожевые наряды и держать полк в постоянной готовности.

«Это похоже на пугачевщину», – думал генерал, вспоминая, сколько страха натерпелся он, тогда еще молодой офицер, когда Пугачев стал теснить царские войска. А там тоже началось будто бы с бунта...

Через маленькую калитку Спет прошел во двор, утопающий в зарослях сирени и малины. В глубине двора прятался небольшой домик. Генерал, ожидавший приезда семьи, облюбовал этот домик в крепости, недалеко от кубанской кручи.

Из малинника неторопливо вышел загорелый мальчишка лет двенадцати. Насупившись, с любопытством рассматривал генерала.

– Ты откуда взялся? – спросил фон Спет.

– Из форштада⁵.

– Казак? – улыбнулся генерал.

– Ага! – не без гордости ответил мальчишка. Смелые темные глаза мальчугана словно ощупывали одутловатое лицо генерала, его рыжие бакенбарды, тучную фигуру, затянутую в генеральский мундир.

«Все они такие – диковатые, отважные, не признающие начальства, – подумал генерал, ощущая смутное раздражение от настойчивого мальчишеского взгляда. – С казаками нужно уметь ладить. Вот Антон Андреевич Головатый – тот умница был, умел и по голове погладить, и узду вовремя затянуть. А этот беглый шляхтич Котляревский жидковат для атаманского поста. Из-за глупости и началась смута...»

– Ты чего здесь делаешь? – нахмурившись, спросил у мальчишки генерал.

– А ничего! – беспечно улыбаясь, ответил казачонок. – По круче снизу сюда забрался...

– По круче? – удивился генерал.

– Ага...

Смелость мальчишки чем-то нравилась генералу и в то же время раздражала его.

– Пошел вон! – сквозь зубы, отрывисто скомандовал он.

⁵ Форштадт – предместье города или крепости.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.